М. САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ · МИТРЯ КОКОР ·

Л. РЕБРЯНУ

ВОССТАНИЕ



Рассказы

Михаил Садовяну

Аннотация
Михаил Садовяну Рассказы
Козма Рэкоаре. Перевод З. Потаповой
Кавалерист. Перевод З. Потаповой
Лес. Перевод З. Потаповой
Шестьсот лей. Перевод Ю. Кожевникова
Вэлинашев омут. Перевод М. Фридмана
На постоялом дворе Анкуцы. Перевод Ю. Кожевникова
Господарева кобыла
Хараламбие
Змий
Колодец под тополями
Другая Анкуца
Суд обездоленных
Купец с красным товаром
Нищий слепец
Рассказ колодезника Захарии
Таможня на кладбище Эюб. Перевод А. Садецкого

Аннотация

В издание вошли рассказы М. Садовяну.

Иллюстрации П. Пинкисевича



Михаил Садовяну Рассказы

Козма Рэкоаре
Перевод З. Потаповой {1}

И удалец же был Козма Рэкоаре! Как произнесу «Козма» так вот и вижу перед собой сурового всадника на караковом коне. Глаза — сталь, усы — два воробья... Удалой румын! Верхом, ружье за плечами, а слева, вот тут, на поясе, нож висит, в добрый локоть величиной, — таким я его всегда видел. Я теперь стар, скоро сотня стукнет, долго бродил я по свету, многого нагляделся, многих людей встречал, но такого, как Рэкоаре, прямо скажу, не видывал. Посмотреть на него — будто ничего грозного в нем и нет. Среднего роста, худощавый, лицо смуглое — такой же человек, как и все. Хе-хе! Куда там! Только взглянешь в глаза ему — и все тут! Удалой румын!

Тяжкие то были времена для страны! Турки да греки повсюду рыскали из края в край, везде

{1} Комментарии: 1
МИХАИЛ САДОВЯНУ
КОЗМА РЭКОАРЕ (COZMA RĂCOARE)
Рассказ отражает увлечение Садовяну фольклором, особенно гайдуцкими балладами. Новелла впервые была опубликована в 1902 г. в журнале «Ревиста модернэ». На русском языке впервые напечатана в 1957 г., в сборнике: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ.

стонал наш несчастный народ, — горькая пора! А Козма и в ус себе не дул. Нынче видят его здесь, а завтра слышно о нем уж бог знает где. Все бегут от смуты, а он — сохрани господи! Как-то раз схватили его и заковали в цепи. Да где там! Он лишь коснулся рукой своих оков, да и стряхнул их, свистнул коня — только его и видели! Кто ж не знал, что у Рэкоаре была разрыв-трава? Эх! Сколько пуль метило ему в грудь! Да все понапрасну. Так уж на роду ему было написано — убьет его только серебряная пуля… Нет теперь таких людей. Прошли те времена…

Слыхал ли ты про гайдука по прозвищу «Сын Румынии»? Этот тоже был молодец! Он гулял по ту сторону, в Мунтении, а Козма — здесь. Ночью встречались они на берегу Милкова{2}, обменивались добычей и до зари возвращались в свои убежища… Думаешь, не подстерегала их пограничная стража? Не гналась за ними? И что же? Как призрак, летел конь Рэкоаре, и пуля его не могла догнать. Длинна дорога отсюда, от гор Бакэу, до рубежа. За ночь отмахать туда и обратно — дело нешуточное. Но уж и конь был у него! В том-то все и дело, что у Рэкоаре конь был не

{2} Комментарии: 2

Милков — река, по которой проходила граница между Мунтенией и Молдовой.

простой. Вот послушай!

Была у водэ{3} Калимаха арабская кобыла, и берегли ее слуги пуще глаза. Была она жеребая, на сносях. Вот однажды, в ночь на Ивана Купалу, пробрался Рэкоаре в конюшню, вспорол кобыле брюхо и украл жеребенка. Да если бы только этим дело и кончилось! Ведь жеребята рождаются в сорочке. Рэкоаре разрезал сорочку, да так, что рассек надвое ноздри жеребенку. В потайном месте растил Рэкоаре этого жеребчика с рассеченными ноздрями, кормил ореховым ядром... И когда сел на него Козма — ну и конь оказался! Дыханье-то у него было вольное, и не уставал он никогда. Ох и конь! С той поры и ветер не мог поспорить с Козмой.

Однажды (я в ту пору был волонтером) случилось Козме быть в стенах Проботы. Волонтеры засели внутри, а турки обложили монастырь со всех сторон и палили по стенам из пушек. Стали волонтеры держать совет — не сдать ли монастырь? Козма молчал. На следующий день Козмы нет как нет. А от стен до самого леса мертвые тела валяются. Вот как проложил себе путь Рэкоаре!

Так и жил он: все в лесах да в полях. Не знал

{3} Комментарии: 3

Водэ — народное сокращение титула воеводы (господаря, князя), как именовались правители в Дунайских княжествах.

он ни нищеты, ни страха, но и любви не ведал. Удалой был румын. Так вот и вижу его верхом на гнедом коне.

В ту пору поместьем Вултурешть владел один грек, а здесь у нас, в усадьбе, — теперь она уже совсем запустела, — жила молодая румыночка, вдова, да такая, каких мне уже больше видеть не приходилось. Грек влюбился в нее без памяти. Да и было из-за чего. У вдовушки были черные сросшиеся брови, а глаза — ну просто чертовские. Господи боже! Такие очи соблазнили бы и святого. Выдали ее против воли за другого грека — Думитру Коваса. Грек этот умер, а боярыня Султана с тех пор сама управляла своим поместьем.

Так вот этот грек, Никола Замфириди, был просто без ума от боярыни. Чего только он ни делал, куда ни ходил, даже к ворожее наведался, да все попусту. Боярыня — нет да нет! Не пришелся ей грек по душе. А был Никола собою вовсе не дурен. Красивый грек, лицо смуглое, усы закручены, борода курчавая. Да что толку! Не нравится он вдовушке — и все тут!

Вот однажды сидел Никола у себя в покоях, курил да думу думал. Как быть? Хочет он жениться, взять Султану в жены, а она об этом и слышать не желает. Ходил он на днях с цыганом Чокыр-

лие, жалобно пел возле ее ограды, но усадьба молчала, словно окаменела. Черт его знает что тут делать…

«Не урод я и не дурак, — думал боярин Никола. — В чем же тут причина? Может, ей люб кто-нибудь другой?»

Нет. Он стерег ночи напролет: никто не входил и не выходил со двора боярыни.

Гневается боярин. Встал, схватил плеть и вышел. Во дворе работники лошадей чистили.

— Да разве так коней чистят? — рявкнул боярин и — хлоп! — вытянул плетью работника.

Немного подале садовник отдыхал на солнце.

— Так-то ты о саде заботишься? А? — И бац-бац!

Да что толку?.. Какая польза в том, что накинулся он на людей?

Зашел боярин в сад, сел под тенистой липой. Сидел он на каменной скамье и вновь думал думу…

Зачем ему жизнь, коли та, кого он любит, не хочет на него смотреть. Глянул Никола, как в тишине падают поблекшие листья, и тяжело вздохнул.

— Василе! Василе! — позвал боярин. Жалобно прозвучал его голос в печальном осеннем саду.

Крепкий старик открыл садовую калитку и

подошел к своему хозяину.

— Василе, — сказал боярин, — что мне делать?

Старик посмотрел на боярина, сам вздохнул и почесал в затылке.

— Что делать, Василе?

— Откуда мне знать, хозяин?

— Придумай. Многому ты меня научил, придумай и сейчас что-нибудь. Баба-ворожея не помогла. Чокырлие и того меньше. Не знаешь ли ты еще какого средства?

— Да как сказать…

— Помоги, Василе!

— И сказал бы, хозяин, только боязно как-то.

— Я дам тебе золотой, Василикэ, говори!

Но обещанный золотой не очень-то тронул Василе. Он снова почесал в затылке.

— Знаю я, что ты и два золотых мне дашь, даже три дашь… Да все-таки… Ну ладно, слушай… Будь что будет! Поезжай-ка ты во Фрасинь, ступай во двор, со двора — в покои боярыни да и увези ее. Вот что я тебе скажу!

— Да что ты, Василе! Как это можно!

Василе больше ничего не сказал. Подумал-подумал боярин, потер рукой лоб да и говорит:

— Решусь и на это, Василе! Так и знай — сделаю! Молодец ты, вот что!

— Я знал, что заработаю два золотых, — вздохнул старик, почесывая затылок.

В тот же вечер боярин Никола исполнил свое слово. Сел на коня, взял себе в товарищи пятерых работников посмелев и отправился во Фрасинь.

Лес стонал под напором ночного осеннего ветра. Люди ехали молча. Время от времени невесть откуда доносилось пение петухов, затем снова наступала тишина. Вот показался и двор вдовы, черный, словно куча угля.

Никола со своими спутниками как тени подкрались к стене; бесшумно спешились, закинули на стену веревочную лестницу, вскарабкались и перемахнули на ту сторону. Лошадей оставили снаружи, привязав к деревьям.

Тут вдруг послышались крики. Боярин Никола был не из трусливых. Он бросился к дому. Двери не заперты. Он — в коридор.

— Ага! — пробормотал он. — Теперь птичка попалась мне в руки.

Вдруг распахнулись двери, и волна света залила коридор. Боярин Никола и тут не струхнул и кинулся в покои. Но едва сделал он два шага, как на пороге показалась боярыня Султана — вся в белом, волосы распущены. Нахмурив брови, встала она на пороге и глядит на боярина.

Обезумел Никола. Так и подмывает его пасть на колени и целовать ноги боярыни — уж очень она хороша была. Да знает он, что, если станет на колени, посмеется она над ним. Бросился вперед, чтобы схватить ее.

— Стой! — вскричала боярыня Султана. — Я-то думала, это воры! Ага! Так это ты, сам боярин Никола!

И внезапно ятаган сверкнул в ее правой руке. Никола почувствовал сильный удар плашмя по голове. Остановился. Работники кинулись вперед, но один тотчас же с криком упал, весь в крови. Тут послышался шум, в коридор ворвалась челядь боярыни. Никола кинулся к дверям, за ним — четверо его спутников. Отбиваясь кинжалами направо и налево, выскочили они на двор.

И вот Никола уже на коне и удирает в Вулту-рештъ.

Грустно слез он с коня, снова вошел в свой сад, снова сел на каменную скамью и схватился за голову.

— Горе мне, — шептал он скорбно. — Жалкий я человек! Что же мне делать? Что делать?

Так сидел он, задумавшись, в эту октябрьскую ночь. Только холодный ветер, дышавший изморозью, пробуждал его от забытья.

— Горе мне! Жалкий я человек! — И он уткнул лицо в ладони, а локтями уперся в колена. — Что за женщина! — в задумчивости шептал он снова и снова. — Какие глаза у нее! Господи, господи! Не оставь меня, сердце мое разрывается…

Долго сидел Никола забывшись. Наконец он встал, пошел в дом и все шепчет:

— Что за женщина! Какие глаза!

В доме он снова кликнул Василе:

— Ну, Василикэ, погубила она меня! Что за женщина, Василе… Душу мне обожгла, совсем меня убила! Что придумать? Не оставляй меня, Василе, получишь два золотых…

Василе поскреб башку да и говорит спокойно:

— Знаю, что с тобой случилось, хозяин. Удалая боярыня, ничего не скажешь. Дашь ты мне и пять золотых, даже шесть. Есть еще одно средство…

— Дам, дам, Василе, говори только. Ох, какие очи! Беда мне!

— Стало быть, ты дай мне семь золотых, — говорит Василе, — да надо будет дать еще семью семь, чтоб попала она тебе в руки. Не бойся, хозяин, это немного… Семью семь… Зато будет она твоя. Вот что: привезу я к тебе Козму Рэкоаре. Вот так же, как ты мне положишь на ладонь деньги, так и он тебе отдаст в руки боярыню Султану, точно так…

Боярин Никола немного струхнул, как услышал про Козму Рэкоаре, да потом вздохнул и говорит:

— Ладно!

На третий день явился Козма. Боярин Никола сидел в саду на каменной скамье под липой и пускал из чубука душистый дымок. Как увидел он молодца, так и застыл, вытаращил глаза. Козма шел не спеша, левой рукой ведя коня на поводу. На нем были высокие до колен сапоги с большими стальными шпорами. Нагрудник доходил до блестящего пояса. За плечами — ружье, на голове — черная баранья шапка. Шагал он спокойно, как всегда, насупив брови. Конь шел за ним, опустив голову.

Боярский управитель Василе подошел к каменной скамье и, почесывая в затылке, шепнул, ухмыляясь:

— Что скажешь, хозяин? Погляди-ка на него! Этот тебе самого черта доставит!

Боярин Никола не мог глаз отвести от Козмы. Молодец остановился и сказал:

— Пошли господь счастья!

— Спасибо, — ответил Василе. — И тебе дай бог счастья.

Боярин все молчал и молчал.

— Хм, — пробурчал Василе. — Пришел к нам,

брат Козма?

— Пришел, — отвечает Козма.

— По нашему делу?

— Да…

Козма говорил неторопливо, угрюмо. Казалось, по лицу его отроду не пробегала и тень улыбки.

— А! Да! Так ты пришел, — заговорил боярин, словно очнувшись ото сна. — Пойди-ка, Василе, скажи, чтоб принесли нам кофе, и сейчас же возвращайся обратно.

— Пусть принесут одну чашку, — молвил Козма. — Я не пью.

Василе удалился, усмехаясь и оглядываясь на своего боярина.

— А! Да!.. Ты не пьешь, — пробормотал, запинаясь, Никола. — Да, да… Ты пришел по нашему делу. Ага! Ну, так сколько? Я даю пятьдесят золотых.

— Хорошо, — спокойно ответил Рэкоаре.

Василе вернулся, ухмыляясь про себя. Боярин снова замолчал.

— Ну, как у вас? — спросил Василе, почесывая затылок. — Сладили?

— Пойди, Василе, принеси из-под подушки мой кошель.

— Нет, не нужно кошеля, — сказал Рэкоаре. —

Мне не надо денег.

— Что? — пробормотал боярин. — А! Да! Не надо? Отчегоже?

— Уговор такой: я тебе доставлю боярыню Султану из Фра-сини, Привезу тебе боярыню, тогда отсчитаешь мне деньги.

— По рукам! — сказал Василе, ероша волосы. — Привезет боярыню — получит золото. Что я говорил? Козма тебе самого дьявола из ада притащит. Теперь-то уж боярыня — твоя. Что говорить, по голове и шапка.

Рэкоаре повернулся, пошел в глубь сада, привязал коня к дереву, вытащил из-под седла домотканый суконный плащ, лег на землю и укутался.

— Ну и молодец! — простонал Никола, едва переводя дух. — Теперь будто камень у меня с души свалился.

Василе улыбнулся и ничего не сказал. Потом засмеялся про себя и шепнул:

— Хе-хе! Счастлив тот, у кого есть разрыв-трава!

Боярин вздрогнул, словно пробудившись от забытья, и растерянно глянул на Василе. Потом кивнул головой и вновь задумался.

— Ага! Да... — бормотал он, сам не зная, о чем

говорит.

Когда совсем стемнело, Козма подтянул у коня подпруги и вскочил в седло.

— Жди меня, боярин, на поляне Вултурешть, — сказал он.

Растворились ворота, конь фыркнул и понесся вскачь.

Полный месяц светил сквозь легкую осеннюю мглу, ткал паутину тонких лучей, освещая тихие холмы и темный бор. Быстрый топот гнедого будил глубокую тишину. Молча скакал Рэкоаре по дубравам под сенью поредевшей листвы. В синевато-бледном свете луны он казался призраком.

Так доехал он до Фрасини. Там все спали, ворота были заперты. Бум-бум-бум-бум! — застучал Козма в ворота.

— Кто там? — раздался голос изнутри.

— Отвори, — приказал Рэкоаре.

— Да кто ты есть?

— Открой! — снова крикнул Козма. За воротами послышался шепот.

— Скорей открой!

— Не откроем!

— Отворяй же: это Козма!

За забором над воротами блеснул свет и озарил лицо Рэкоаре. Потом послышался шорох, свет

погас, и загремел засов на воротах.

Козма вошел во двор. Пусто. Он поднялся по ступеням, толкнул дверь.

— Дверь не заперта, — пробормотал он, — боярыня не труслива.

Гулко, как в церкви, отдавались в темном коридоре его шаги и звон шпор. В одной из комнат послышался шум, и яркий свет хлынул в коридор.

Боярыня Султана появилась на пороге, вся в белом, с распущенными волосами. Черные брови нахмурены, в правой руке — ятаган.

— Кто ты? Зачем пришел? — крикнула она.

— Пришел за тобой, — так и отрубил Рэкоаре, — отдать тебя боярину Николе.

— А! Так ты не простой вор! — воскликнула боярыня и замахнулась ятаганом. — Берегись, попадет и тебе, как твоему Николе!

Рэкоаре шагнул вперед, спокойно схватил ятаган, сжал боярыне руку — и стальной клинок отлетел в угол. Боярыня легко отпрыгнула в сторону и крикнула:

— Гаврила! Никулай! Тоадер! Сюда!

Зашумели голоса, в коридор толпой прибежали работники, но остановились на пороге. Рэкоаре подошел к боярыне и попытался поднять ее

на руки, но она вырвалась и схватила со стола кинжал.

— Что же вы стоите, дураки? Вперед! Хватайте его, вяжите!

— Не трать слов понапрасну, боярыня. Вижу я, что ты не из трусливых, да делать нечего, — молвил Рэкоаре.

А челядь бормотала:

— Как же мы свяжем его? Ведь это Рэкоаре! Да разве мы посмеем? Ведь это сам Козма Рэкоаре, боярыня!

— Трусы! — закричала Султана и бросилась на Козму.

Удалец схватил ее, стиснул ей руки, связал их кожаным ремешком и взял боярыню под мышку, словно мешок.

— Расступись! — приказал он, и люди забились в углы, прижавшись друг к другу.

«Огонь, а не женщина! — думал Козма, шагая по коридору и неся боярыню под мышкой. — У боярина Николы, видно, губа не дура! Красавица женщина!»

Султана широко раскрытыми глазами смотрела на своих работников, которые в страхе расступились. Все ее тело словно сжимали стальные тиски. Потом она перевела взгляд на суровые

черты Рэкоаре. Свет падал на его смуглое лицо и горел искрами в стальных глазах.

— Кто ты? — простонала она.

— Я Козма Рэкоаре…

Боярыня еще раз посмотрела на челядь, забившуюся в углы, и больше ничего не сказала. Что тут поделаешь…

Выйдя во двор, удалец вскочил на гнедого, посадил боярыню перед собой и дал коню шпоры. Снова от топота копыт проснулась тихая ночь.

«Вот это женщина!» — все думал Рэкоаре, а конь его мчался легко, словно призрак.

Боярыня повернула голову и в сиянье луны стала смотреть на Рэкоаре.

— Что ты смотришь так на меня, боярыня?

Гнедой мчался под сенью дубравы. Черными волнами переливались в лунном свете волосы Султаны. На еще не опавшей листве серебром искрился иней. С трепетом смотрела Султана на удальца, сжимавшего ее могучей рукой, и очи ее, словно звезды, горели из-под густых бровей.

— Что ты смотришь так на меня, боярыня? Что дрожишь? Тебе холодно?

Топот проносился по полям, листья сверкали серебром, и в лунном сиянье гнедой летел легко, словно призрак.

Вдруг впереди зачернели тени.

— Кто там? — спросила Султана.

— Нас ждет боярин Никола… — ответил Рэкоаре.

Боярыня ничего не сказала, но Козма почувствовал, как напряглось все ее тело. Лопнул кожаный ремешок, и вскинулись белые руки. Молодец не успел удержать ее. Мгновенно правая рука протянулась к узде и повернула коня, а левая обвила шею Рэкоаре. Голова женщины легла ему на грудь, и нежный голос прошептал:

— Не отдавай меня другому!

А конь мчался, как призрак, в бледном свете луны; топотом огласились рощи, серебром сверкали листья, развевались волны черных кудрей. Следом в погоню кинулись тени. Привидениями взметнулись на вершину холма, летели в прозрачной мгле. Но черный призрак все мчался и мчался вперед и наконец пропал далеко во тьме ночи.

Кавалерист
Перевод З. Потаповой

{4}

Молчание господствовало на берегах Вида, освещенных полуденным солнцем. Ни в прибрежных кустах, ни в оврагах не было заметно движения; изредка в тишине слышались крики чаек, которые медленно кружились на своих острых белых крыльях над сверкающими осколками речного зеркала. Порою ястреб, паривший высоко в поднебесном просторе, со свистом как стрела падал вниз, в заросли ивняка. Другого движения не было заметно, но на склонах холмов и в кукурузных полях скрывались в засаде люди.

В два часа пополудни тишина была нарушена. По ту сторону Вида, в лагере Осман-паши{5}, за-

---

{4} Комментарии: 4

КАВАЛЕРИСТ (CĂLARAŞUL)

Сюжет связан с русско-турецкой войной 1877–1878 гг., в которой принимали участие и румынские войска. Рассказ впервые опубликован в 1904 г., в журнале «Сэмэнэторул». Вошел в сборник «Рассказы о войне» (1905). На русском языке опубликован в 1957 г., в книге: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ.

{5} Комментарии: 5

Осман-паша — командующий турецкими войсками во время войны 1877–1878 гг.

мелькали турецкие фески и сверкнуло оружие. Румынские дозорные, притаившиеся на нашей стороне, немедленно вышли из прикрытий, заслонив глаза от солнца, внимательно всмотрелись в тот берег и приготовили карабины.

Густые полчища османов хлынули из оврагов и долин к мосту через Вид. Наши кавалеристы вскочили в седла и умчались. Турецкие части, вытянувшиеся в колонну при переходе через каменный мост, растеклись по фронту и быстро развернулись в стрелковые цепи.

Тихая долина реки заполнилась людьми. Покой разорвали отдельные выстрелы: это отходили аванпосты нашей конницы. Потом внезапно заговорили орудия из Дольны-Дубника. После третьего залпа в рядах противника взметнулось серое облако дыма, поднялась суматоха, и воздух огласили протяжные вопли. Затем размеренно, после каждого удара орудийного грома, молнии стали вонзаться во вражеские батальоны, разрывая и кромсая их тесный строй.

Однако стрелковые цепи приближались, за ними следовали и колонны. Пушки били все чаще и чаще по гуще наступающих, когда внезапно с моста Дольны-Дубника понеслись полки наших

рошиоров{6} в красных мундирах и, словно кровавый поток, хлынули по откосу. За ними темной волной помчались драгуны.

Орудия заговорили еще громче. Батальоны врагов дрогнули, их артиллерия беспорядочно металась, ища удобную позицию, всадники рассыпались по полю и стали заходить с флангов.

Из высокой кукурузы, подступавшей к берегу Вида, затрещали выстрелы карабинов. Легкие дымки, словно от попыхивающей трубки, поднялись над зелеными полями, и вскоре короткий треск отдельных выстрелов слился в непрерывный гул; затем стрельба на какое-то мгновение утихла; но вот воздух огласил новый мощный залп, и выстрелы загремели то вразнобой и отрывисто, то сливаясь в сплошной гул… Вражеские батальоны смешались и начали перестраиваться в длинные шеренги; один за другим падали под пулями солдаты; огненные разрывы снарядов сметали целые массы людей. Их ряды быстро шли вперед, но в конце концов свинцовый град остановил турок. Стрелковые цепи повернули назад, сбились в кучи и залегли; неся огромные потери, колонны дрогнули и остановились.

{6} Комментарии: 6
Рошиор — гусар *(рум.).*

В этот миг долину огласил гневный клич кавалерийских труб. Красный поток рошиоров ринулся вперед, как ураган, сверкая, обнажились сабли, опустились пики, и тысячи значков затрепетали на ветру; всадники припали к лукам, топот лошадиных копыт потряс землю; словно вихрь обрушился на полки неверных…

Услышав удалое гиканье, турецкие колонны отпрянули. Рошиоры и простые кавалеристы, рассыпавшись по полю, в своем стремительном набеге ударили по вражеской стене; свистели сабли, пики пронзали людей, всюду кипели яростные схватки. Пушки и карабины замолчали; только рев атакующих и вопли изрубленных вздымались к небу песнью ярости и ненависти.

Обратившись в беспорядочное бегство, побежденные османы повернули к мосту через Вид. Но наши кавалеристы мчались вслед, распластавшись, словно большие хищные птицы. Они прижали к мосту остатки вражеских полков и разметали их как буря. Беглецы, перебравшись на ту сторону, рассеялись по долинам, кукурузным полям и зарослям, а в это время с нашей стороны снова заговорили карабины.



М. Садовяну

Постепенно стрельба умолкла; последний выстрел словно поставил заключительную точку, и снова воцарилась тишина.

В этот день не было отдано приказа хоронить убитых, и когда закат рассыпал свои золотые отблески по Виду, на пустынных берегах стояла глубокая тишина. Убитые турки словно вихрем разбросаны были по полю вперемежку с оружием и неподвижными конскими телами. Там же лежало и трое наших: два рошиора и один простой кавалерист.

Молчали заросли ивняка; как и утром, резко вскрикивали чайки, медленно паря над бесчисленными осколками водного зеркала. Стаи чибисов блуждали с болота на болото, издавая жалобные крики, похожие на мяуканье. Вдалеке на востоке глухо рокотали пушки, и воздух прорезывали огненные отблески.

Сумерки постепенно угасали, а эти трое юношей спали непробудным сном.

Один из рошиоров лежал на земле скрючившись, повернув лицо кверху; его правая рука застыла на пике, а левая была прижата к груди, словно пытаясь вырвать что-то. Второй лежал

на боку, пика его сломалась, руки со сжатыми кулаками вытянулись вдоль тела, и широко открытые остекленевшие глаза злобно смотрели куда-то вдаль, на горизонт. Кавалерист с закрытыми глазами, казалось, спал, обратив лицо к небу и раскинув руки. По его спокойному лицу, на котором черными полосками выделялись брови и усы, сонной лаской пробегало дуновение вечернего ветра.

Так лежали они все трое, а ветви ивняка дрожали и шелестели на ветру, словно бормоча непонятную песню.

Оба рошиора были горожанами, сыновьями зажиточных торговцев. Они выросли в довольстве, без нужды и горя, повидали много городов и сел, многому учились. Матери оплакивали их еще заранее, ведь их ожидала спокойная, счастливая жизнь. Но они оставили плачущих матерей, расстались с богатством и пошли сражаться за свою страну. Погибли они достойно, и не нужно им теперь богатства, ничего не нужно… Воздадут им по заслугам, напишут о них красивые слова в газетах, восхваляя их любовь к родине; ведь они оставили мать, отца и все достояние и пошли воевать! И смерть эта возвысит их гораздо более, чем вся их жизнь, которая прошла бы без боль-

ших страстей и порывов.

Да, много будут говорить об этих истинных героях — но только не о тебе, безымянный простой кавалерист; не будут хвалить тебя в газетах, как великого храбреца. Не оставлял ты ни добра, ни имения, был ты беден и унижен, и звали тебя просто Василе, сын Тудора.

Всю жизнь боролся твой отец с нуждой, и редко приходилось ему улыбаться. Если бывал он разъярен, то бил твою мать, а если видел, что ты плачешь, то кричал и колотил и тебя. Когда становилось ему горько, он шел в корчму и отводил там душу; тогда он делался добрее, забывал на время свои невзгоды, целовал жену, а тебя заставлял петь и плясать.

Подрос ты, младшие твои братья оставались дома, а тебя посылали пасти скотину на выгон среди болот. Там научился ты играть на дудке и петь веселые припевки, танцуя хору. Много ночей проводил ты в рощах и лугах со своими сверстниками. Вы разводили костры из хвороста и, освещенные красными отблесками огня, рассказывали сказки, а звон конских копыт разносился далеко в тишине полей. Хлестали тебя ветры и дожди, застигали бури, засыпали ледяными иглами осенние вьюги.

И неожиданно ты выровнялся в красивого парня, стройного и сильного, крепкого, как дуб. Журчание вод и шепот леса были для тебя песней, знакомой с детства, а душа твоя сроднилась с безграничными далями. Нелегко тебе жилось, тяжек был твой труд, взвалил ты на свои плечи убогое хозяйство отца; и вот пришло в родной дом довольство, а твоя забитая, униженная мать смогла вздохнуть спокойно.

Помнишь ли ты, Василе, веселую хору в своем селе? По воскресеньям и в праздники двор Иона Секэряну, того, у которого было шесть дочерей, заполнялся народом; приходил Димаке со скрипкой и его цыганка с кобзой. А девушки с цветами в волосах и в узорчатых рубашках плясали, взявшись за руки, с парнями в зеленых, туго затянутых кушаках, в широких шляпах, разукрашенных павлиньими перьями и бисером. Жарко заливалась скрипка Димаке, а его молодая цыганка с глазами, словно угли, склонившись, играла на звенящей кобзе и сама напевала гортанным нежным голосом. С каким жаром водил ты брыуль, как громко пел, а когда наступал вечер и тишина сходила на деревню, слышался только твой голос вместе с нежной мелодией скрипки и бормотанием кобзы. В прозрачных вечерних сумерках

вы провожали девушек домой, а музыканты шли следом; в узких проулках, под ветвями деревьев, тени становились все гуще, смех и возгласы звучали приглушенно, потом ночь простирала свой таинственный покров, а немного спустя где-то вдали замолкала и песнь музыкантов.

Помнишь ли ты, Василе, девушек, с которыми водил дружбу? Ты любил их, танцевал хору только с ними и крепко обнимал их по вечерам, провожая домой. Но одно за другим ушли легкие увлечения, и пришла большая любовь, которая завладела всей твоей душой, принесла за собой дни жгучего страдания и бессонные ночи.

Так, в любви, прошли осень, зима и весна; а весна эта была самая прекрасная из всех: и в лугах цвело больше цветов, и, казалось, тропки были укромнее. Но вот внезапно твое счастье развеялось, — загремела труба войны.

Накануне дня твоей отправки ты напился с парнями, распевал во все горло и кричал, что идешь схватиться с турком. А когда настал вечер, ты пришел в себя, словно дунул кто тебе в глаза, и пошел ты к своей милой, с которой был уже обручен. Вытерла девушка слезы, и просидели вы всю ночь, глядя друг на друга. Она спросила тебя: «Куда ты идешь?» Ты ответил: «Идем мы далеко,

драться с турком…» А девушка сказала: «Может, смилостивятся господь и божья матерь, и ты вернешься живой…» Поговорили вы о том, как заведете свое хозяйство, где поставите дом, сколько земли засеете… и снова замолчали. А часы летели, и постепенно жаркая страсть захватила ваши сердца, налетела и увлекла в каком-то вихре. На заре, когда ты уходил, девушка рыдала, как безумная, а ты вскочил в седло и поехал. Когда же в конце улицы ты обернулся назад, Руксанда уже не плакала, а стояла на пороге и блуждающими глазами смотрела тебе вслед.

Так и кончилась ваша любовь. Отправился ты с кавалерийским полком на войну без страха и без сожалений. Думал ты: что на роду написано, того не миновать; а кроме того, ты знал, что от турка да от татарина еще дедам твоим худо приходилось. Может, теперь и настал для нехристей день расплаты.

Перешел ты Дунай, услышал грохот пушек, и вскипела у тебя кровь в жилах. Как сыграли горны сигнал к атаке, ринулся ты вперед, словно подхваченный ураганом, и разил неверных саблей; опьянил тебя запах пороха, разъярился ты, закричал… и внезапно пуля впилась в сердце, принадлежащее твоей милой. Упал ты, раски-

нулся на земле и заснул навеки.

Вот и ночь настала; смолкли чайки и чибисы. Только ветер с легким шорохом колышет заросли ивняка. Умер ты, угасло доброе сердце. Никогда в жизни не бранился ты понапрасну, не обижал ни вдовы, ни сироты, не делал зла ближнему твоему. Чистая душа была у тебя, и погиб ты с честью.

Дома, в селе, твоя Руксанда узнает когда-нибудь, что не вернешься ты более, но горе ее не дойдет до тебя, к твоему холодному ложу. Другим будут играть и петь Димаке с цыганкой, а ты будешь отдыхать, ибо кончились твои радости. Лишь иногда в зимние ночи у натопленной печи люди с честной душой помянут твое имя, брат Василе, и будут говорить о тебе тихими голосами, как о гордом дубке, поваленном бурей.

Лес
Перевод З. Потаповой

{7}

Много старых историй слышал я от дедушки Маноле. Время от времени у него воскресали воспоминания о молодости, навсегда уснувшей, и всякий раз, когда он рассказывал свои истории, в печке, как сейчас помню, пылал огонь, и осенний ветер, вздыхая, бился в окна. Его речей я точно передать не могу, теперь я их больше не слышу, ибо дед мой давно отправился в царство теней. Но все же кое-что сохранилось в душе и в памяти моей, и подчас, когда я остаюсь один, мне чудится его тихий голос — передо мною встают видения прошлого.

— В былые времена, — так, помнится, сказывал дедушка Маноле, — знавал я там, за горами, одного лесника по имени Войня…

{7} Комментарии: 7

ЛЕС (C O D R U L)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Виаца ромыняскэ», в 1906 г. Вошел в сборник «Давняя история» (1908). На русском языке впервые напечатан в книге: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ, 1957.

На пятнадцать тысяч фэлчь{8} тянулись леса Антилешти — дремучая, непроходимая чаща. На опушке, у Ионовой пасеки, стоял домик лесника Войни, а в ложбинке под яблонями было у него с десяток ульев. Среди яблонь и ульев пробивался в траве Олений ручей. Поодаль торчал журавль старого колодца.

— Знаешь, — говорил Войня, — избушку отстроил я себе заново. Тут от старых стен только гнилые бревна оставались. А вот колодец какой есть, такой и был, вода в нем чистая, как слеза… Люди называют его Ионов колодец… А рядом Ионова пасека… Вот здесь, у ручья, пчелиные колоды стояли. Жил тут раньше какой-то Ион… да никто уж о нем и не помнит, и никто теперь не знает, что это за человек был. Жил он здесь, пока не помер…

И Войня, приземистый человек с черными усами, оглядывался вокруг, а потом задумчиво устремлял свои маленькие глазки на темный бор, словно размышлял об иной жизни, которая некогда текла здесь, словно думал об Ионе… Кто знает, что это была за горемычная христианская душа! Потом Войня вдруг оборачивался и при-

---

{8} Комментарии: 8

Фэлчь — множественное число от фалкэ, старой меры площади, равной 14 322 кв. м. *(рум.).*

стально смотрел на свою жену Мэриуку. Высокая и стройная, в домотканой юбке, туго стянутой под грудью узеньким цветным пояском, в белоснежной рубашке, она выскальзывала из двери и бесшумно бежала по травке к колодцу. Туго заплетенные косы короной лежали вокруг ее головы. Бледная, с грустными глазами, Мэриука казалась больной.

Однажды я спросил лесника:

— Что с твоей женой, Войня?

— Что с ней может быть? Да ровно ничего! Что ты, не знаешь этих баб? — И он посмотрел ей вслед своими маленькими глазками, похожими на две капельки дегтя. Затем попытался отвлечь мое внимание от жены: — Посмотри-ка на эти ульи… Настоящие крепости пчелиные. Как-то поймал я в дупле дерева один рой, а теперь, видишь, какой пчельник развел! Что ж! Надо же человеку хоть когда-нибудь потешить себе душу каплей меду… Каждый делает что может…

С деревянной бадейкой в руках Мэриука подошла по траве к дому и скрылась в черном проеме дверей. Покой царил на этой лесной опушке, безмятежный покой, — ни один лист не шелохнется, только солнечные блики трепещут и играют, а в непроглядной гуще листвы — ни звука. Не билось

больше сердце леса, угомонились и ветры… Бежал ручей, дробя свет в воде и легко качая цветы и травы; пчелы в солнечных лучах казались золотыми искрами. В этом уголке большого, мира покой вливался мне в душу.

Я довольно часто ходил в те места по разным своим делам: то за дровами, то за сыром на сыроварню, стоявшую на большой поляне у Соломонешти. Иногда забредал я в глубь леса и там подстерегал косуль. И почти всегда выходило как-то, что по дороге встречался с Войней, а на обратном пути ненадолго останавливался на пасеке, чтобы отдохнуть на завалинке у дома и освежить горло прозрачной водой из Ионова колодца.

Особенно полюбилась мне самая сердцевина этого леса, густая чаща среди скал. Там, в глуши, под сводами вековых деревьев, лежали сумеречные тени, и редко-редко яркие солнечные пятна оживляли мягкий ковер блекло-желтой травы. Птицы сюда не залетали: их отпугивало это уединенное место. Олений ручей с неумолчным мягким журчанием бежал по серым уступам скал, осыпая брильянтовыми брызгами густой темно-зеленый мох на берегу. И под его лепет, в тиши, у подвижного зеркала волн, иногда, вы-

нырнув внезапно из кустарника, как из темной пещеры, появлялась серая косуля и замирала в грациозной позе, словно высеченная из камня. Но большей частью здесь царило такое всеобъемлющее безмолвие, что я слышал биение своего сердца; изредка вдали трубил рог, и звук его доносился до меня приглушенно и печально, словно исходил из недр земли.

Я бродил под огромными буками, обсыпанными желудями. Иногда меня сопровождал Войня. Молчал я, молчал и он, пробираясь среди кустарников по сырой тропке, утопающей в густой зелени. Ближе к опушке становилось светлее, и с выгона доносилось позвякивание колокольчиков барских коров. Колокольчики звенели тихо, на разные голоса, одни глухо, другие звонко — целая гамма мягких звуков переливалась, словно далекая песня, безмятежно легкая мелодия невидимых колоколов.

В последнее время у лесника, ходившего со мною, взгляд сделался каким-то отсутствующим, а лицо хмурилось, словно на душе у него было большое горе. Что-то его мучило, и хотя он ничего не говорил, но я это чувствовал. Случалось, что он покидал меня на выгоне или в лесу и возвращался к себе в избушку.

— Я на минутку забегу домой… Забыл наказать жене… что передать барину, если он заедет.

Лесник уходил. Я наблюдал за ним и видел, как, приближаясь к опушке, он ускорял шаги. Спустя некоторое время он возвращался ко мне, — обычно я уже сидел в засаде с ружьем наготове; он пристраивался рядом со мной и тогда, отдышавшись и успокоившись, сидел так тихо и молчаливо, что я часто забывал о его присутствии.

Жена его Мэриука по-прежнему была все такой же худенькой и печальной, а несколько раз я заставал ее с заплаканными глазами.

Однажды я столкнулся с барином — как раз в тот момент, когда он уезжал с Ионовой пасеки верхом на вороном коне. Он встретил меня улыбкой, осветившей его приветливое мужественное лицо, и спросил:

— Не видел ли ты Войню? Я искал его и на сыроварне, да не нашел…

Я тоже Войню не видал и теперь уж не помню, что ответил барину. Однако мне показалось, что барин даже не вслушался в мои слова. Он пришпорил коня и поскакал, вскинув ружье за плечи, а лучи августовского солнца освещали его, пока он не затерялся в чаще леса. Его большая

рыжая собака с длинной шерстью, всюду сопровождавшая своего хозяина, бежала то справа, то слева от лошади, рыща по лесным зарослям. Вскоре после того как лошадь и всадник скрылись из виду, я услышал несколько выстрелов, гулко раскатившихся от поляны к поляне; я понял, что барин бьет по рябчикам, на которых в это время года он особенно любил охотиться.

Тут я вспомнил заплаканную жену лесника, и мне внезапно пришла в голову догадка. Чего ищет здесь барин? Почему Войня так часто спешит домой? Тут, наверное, что-то есть.

В сумерках, когда смолк отдаленный звон колокольчиков на поляне, я и Войня, с ружьями за плечами, возвращались домой, понапрасну просидев на Воровской тропке в ожидании тетерок. Утренняя встреча весь день занимала мои мысли, и я спросил лесника:

— Ты сегодня был на сыроварне, Войня?

— Нет, а что?

— Тебя искал барин.

— Который? Молодой? Господин Енакаке?

— Да. Он сказал, что не нашел тебя.

— Ну да, ведь я ходил не туда, а к Фундени…

Он помолчал. Темнело, из леса потянуло прохладой, мы уже подходили к ручью, как вдруг

Войня повернулся ко мне.

— Так это был господин Енакаке? Да кому ж еще и быть? Ведь старый барин больше не выходит из дому… А ты его на пасеке встретил?

— Да, на пасеке…

Он как бы призадумался, потом промолвил тихо:

— Хм! Кто его знает, что он хотел мне сказать.

Я искоса посмотрел на Войню. Немного раскачиваясь на ходу, он шагал, как всегда, неторопливо; его обветренное лицо с черными как смоль усами выражало обычное добродушие и печальное спокойствие. «Нет, — подумал я, — ничего тут нет. Да и что может быть? Войня такой же, как всегда».

Так вот, я частенько захаживал на Ионову пасеку. Что-то, скрытое в глубине моей души, влекло меня к Мэриуке, ибо я был тогда в расцвете молодости, а кроме того, меня волновало и ее горе, которого я не понимал. Но больше всего манил меня старый лес; к нему я питал почти болезненную любовь. На опушке темной чащи Мэриука казалась еще тоньше, еще стройнее и бледнее; и когда она, задумавшись, неподвижно сидела в сгустившейся вечерней мгле, то представлялась мне каким-то существом из иного мира, сотканным из таинственного одиночества и лесной

дымки. В шепоте листвы словно ощущался трепет живого сердца. Он нарастал, передаваясь от дерева к дереву, от ветки к ветке, потом слабел, угасал, и чудился в нем невнятный рассказ о чем-то очень древнем и очень печальном. И когда бескрайние зеленые своды умолкали, то и мое дыхание как бы замирало, затихало в ожидании. Я не испытывал ни радости, ни печали, а словно растворялся в бесконечной природе, в океане земного богатства. И когда снова налетали порывы ветра, а лес шелестел и вздыхал, глубокая дрожь потрясала все мое существо, и в душе моей рождалась страстная песнь — предвестие и зов молодой любви.

Однажды на поляне, возле избушки лесника, меня застала буря. Войни не было дома.

Седые тополя на краю поляны так неистово сотрясались, словно хотели с корнями вырваться из земли; бешено содрогались старые буки, то сгибаясь, то снова распрямляясь под яростными порывами ветра, который налетал из самой глубины леса, вихрем подымая сорванную листву и валежник. Среди темных туч над поляной, трепещущей перед бурей, нарастал зловещий

гул, — словно протяжный звук бучумов{9} призывал грозу с сумрачного горизонта, подернутого взметенной пылью. Загрохотал, загудел лес, и на поляну обрушилась плотная завеса воды; капли глухо забарабанили в маленькие окна, и внезапно, словно утолив ярость, буря утихла со вздохом облегчения, и ослепительное солнце вновь засияло над поляной.

Я вышел и сел на завалинку рядом с женой лесника. Все вокруг улыбалось в солнечном свете; пролетела пчела, сверкнув золотой нитью; блеснула голубым оперением сойка, дрозд запел было звонкую песенку и вдруг, оборвав ее, замолчал; тишина, словно прозрачная вода, нахлынула на опушку:

Как всегда, Мэриука была печальна, и мне захотелось проверить свои догадки.

— Леле{10} Мэриука, скажи мне, что с тобой?.. Отчего ты такая грустная? У тебя, видно, есть что-то на сердце?

— Со мной? Ничего. С чего ты взял? Такая уж

{9} Комментарии: 9

Бучум — народный музыкальный духовой инструмент — длинный пастуший рог *(рум.)*.

{10} Комментарии: 10

Леле — обращение к женщине, старшей по возрасту, или к старшей сестре *(рум.)*.

я есть, такой меня мать на свет родила — невеселой…

Она говорила медленно, и по голосу чувствовалось, что ответ ее был только отговоркой.

Я спросил снова:

— Может, Войня плохо обходится с тобой?

— Войня? А как может Войня со мной обходиться? Как муж с женой…

И она задумалась.

Оба мы замолчали. Потом женщина посмотрела на меня своими большими прекрасными глазами и со вздохом выпрямила тонкий стан, туго перетянутый узким поясом.

— Эх, да что ты знаешь! Ты еще горя не видал. Ты — как этот дрозд, который запел да смолк…

Легкая улыбка молнией осветила ее лицо и глаза и проникла мне в сердце.

— Ты не слыхал, что вытерпела Иляна, жена Иона Маковея, — немного помолчав, медленно продолжала она. — Вот послушай, что ей пришлось испытать, бедняжке… И так и запомни — коли бы знала ее мать, так лучше б дала своей несчастной дочери умереть в люльке… Выдали Иляну за немилого еще совсем молоденькой… А ей хотелось порадоваться жизни… ведь молодая она, и сердце у ней горячее… Да вот муж-то был

ей противен… Есть там в деревне, в Соломонешти, одна баба, Гахицей зовут; она жила рядом с Иляной, через забор… Стоило Иляне выйти — то ли к соседке, то ли в корчму, баба вечером все доносила ее мужу… Так она и жила… И вот случилось, что полюбился Иляне один паренек, да только Иляна никому о том не сказала, не знал и сам парень. Грешить она не грешила, проста было ей любо на волю вырваться, солнышку порадоваться: уж очень душно ей было в доме постылого мужа. И вот ее, бедняжку, муж бить начал… Сегодня бьет, завтра бьет, а никто и не знает… Однажды он запер ее в погреб да и избил жестоко… Убежала Иляна к отцу с матерью, только старики не захотели ее принять. У тебя, мол, свой дом есть, муж… Иди к мужу в дом, к детям… И ушла Иляна обратно и долго болела… А как поправилась, муж опять заприметил, что она ходила по деревне, втолкнул в хату, запер дверь на засов да опять давай ее бить… И голосила же она, сказывают, бедняжка, словно ее резали. Выскочили соседи на улицу, стучали в стены, кричали… Вот как жила Иляна со своим мужем… И однажды слегла она в постель — и все ох! да ох! Сегодня ей плохо, завтра еще хуже, и раз как-то утром говорит она: «Позовите моих

батюшку с матушкой, — смерть моя приходит...» Пришли старики... И пока муж ее был в доме, она не вымолвила ни словечка, лежала лицом к стене. А как он вышел, она повернулась и говорит старикам: «Вот, батюшка, вот, матушка, отнял человек этот у меня жизнь, а как же я ее любила». Тут собрались соседи, явилась Гахица. Она хотела дать Иляне воды из пригоршни, чтобы умирающая испила в знак прощения. Стала Гахица у постели, уговаривали Иляну и соседи, вошел и Ион, да Иляна лишь рукой махала, чтобы ее оставили в покое. «Нет, шепчет, пусть дадут мне помереть спокойно!..» И не захотела испить воды из пригоршней — ни Гахице не простила, ни мужу своему... Так и умерла. Когда обмывали ее, так увидели, до чего ж она худа была, кожа да кости... И все тело в синяках, почернело от побоев...

Мэриука замолчала и уставилась глазами куда-то в конец Ионовой пасеки.

— Вот как бывает... А тебе откуда знать, сколько может вытерпеть женщина на этом свете?..

Я удивленно спросил ее:

— Войня бьет тебя? Мне он не кажется злым.

— Нет, зачем ему бить меня? Я ведь говорю о других, не о себе...

— Ну а с тобой-то что? Я вижу, что ты горюешь,

сохнешь…

Женщина заколебалась, видимо, хотела что-то сказать и опустила глаза. Потом внезапно встрепенулась, прислушалась, вскочила с места, выпрямилась во весь рост и вошла в дом.

Издали, должно быть, от сыроварни послышался рог Войни. Сначала он звучал протяжно, потом издал несколько отрывистых звуков, перешедших в легкие трепетные отголоски, и наконец замер. В тишине раздался отдаленный крик; голос был еле слышен и казался шорохом густого леса: «Эй, Орофей, эй!..» Потом смолк и голос. И через несколько минут топор застучал где-то в лесной глуши, особенно гулкой после дождя.

Мэриука вышла из дома и с ведром направилась к колодцу. Со скрипом опустился и выпрямился журавль. Быстро идя к дому с ведром в правой руке, слегка перегнувшись, Мэриука бросила на меня грустный взгляд. Я встал, взял ружье и пошел мимо ульев, вдоль ручья, через опушку леса на выгон.

Мне было жаль жену Войни, которую явно что-то мучило! С удивлением я вспомнил ее отрывочные слова, ее рассказ об Иляне, жене Иона Маковея, и неясные чувства, смешанные с прежними подозрениями, тревожили мне сердце.

Войня шел мне навстречу по тропинке. Вид у него был хмурый. И только я завидел его, как на поляне зазвенели колокольчики барских коров, и следом за мною на дороге, по которой я пришел, показался барин Енакаке на своем быстром коне, в сопровождении рыжего пса. Пес рыскал направо и налево, обнюхивая кусты.

Барин остановился, лесник тоже.

— Ну, что там на сыроварне, Войня?

— Все хорошо, господин Енакаке.

Барин улыбнулся, потом, повернувшись ко мне и приветливо поздоровавшись, проехал вперед и спешился. Собака сделала стойку и замерла, подняв хвост и вытянув морду по направлению к небольшому кусту. Я пошел вместе с Войней обратно. Когда мы завернули за группу деревьев, послышался знакомый возглас: «Сюда, Гектор!» — и раскат выстрелов разбудил лесную тишь. Затем снова воцарилось безмолвие. Утих и стук топора в чаще.

— Должно быть, он меня и дома искал, — внезапно сказал Войня, шагая рядом со мной.

— Кто? Барин?

— Да. А нашел меня — и ничего не сказал…

Я промолчал. Войня задумался, я тоже. Так мы продолжали путь, не говоря ни слова; прошли

по поляне мимо ульев, перескочили через ручей. Мэриука стояла на пороге и смотрела на нас; лицо ее в тени дверей казалось очень бледным. Собака лесника выбежала нам навстречу, прыгая от радости.

— Посмотри-ка на этого пса, — сказал Войня, — если кто обидит его, он набросится и укусит. У него больше прав, чем у нас с тобой… Человек терпит и молчит… Это я к примеру… — добавил он, усмехаясь и пристально глядя на жену.

Но я хотел говорить не о встречах с лесником и его женой и не о той любви, которая зародилась в моем сердце. Я рассказываю о лесе Антилешть, который был мне так дорог, и о моей юности. Все это прошло: и леса уж не те, и дни юности пролетели.

Бодрящий лесной воздух живил и укреплял меня, легкий свист ветра в листве ласкал мой слух; а как пышно и ярко цвели цветы на поляне у опушки, какой был у них тонкий опьяняющий аромат!.. После двухмесячной отлучки, охваченный горячим нетерпением, возвращался я, точно к возлюбленной, в леса Антилешти. Перед наступлением зимы я хотел еще раз повидать чащи в уборе поредевшей темной листвы. Быть может, и другие чувства влекли меня на Ионову пасеку…

да, может, и так, но с тех пор прошло много зим, и весны юности ушли вместе с солнцем, которое освещало их тогда.

Мэриука хлопотала по хозяйству в своем домике и была молчалива, как и прежде. В полумраке хижины я не мог рассмотреть ее лицо, только глаза ее светились, когда она поворачивалась к окну. Войня спокойно выслушал мою просьбу, вытащил из темного угла ружье, и мы отправились.

Один за другим, медленно кружась в воздухе, слетали на землю последние листья с огромных буков. Мы шагали по желтым, шуршащим грудам опавшей листвы и протаптывали в ней тропинки. От холодного дыхания ветра колыхались ветки деревьев, и чем глубже проникали мы в чащу леса, тем печальнее и пустыннее казался он. Душа моя словно была окутана мглой.

Через некоторое время я остановился и спросил:

— А что поделывает барин Енакаке, Войня?

Войня удивленно посмотрел на меня в упор.

— Как? Ты не знаешь? Погиб Енакаке! Работники сыроварни нашли его под обрывом у Фундени… Он, видимо, проходил там, а берег как раз и обвалился… Нашли его под обрывом рядом с собакой… помнишь, той, рыжей…

— Как? Барин погиб? А я ничего не слышал…

— Да, погиб…

Лесник отвечал спокойно, но мне показалось, что глаза его слишком пристально смотрели на меня. Не знаю, не могу сказать — отчего, но дрожь пламенным током пробежала у меня по спине… И в этот миг у меня мелькнула догадка, что лесник Войня убил своего хозяина.

Безотчетно я спросил:

— И что же? Не нашли, кто убил его?

— А чего же искать? — ответил Войня. — Ведь сам погиб, лютой смертью…

Я замолчал. Неприютным и пустынным был лес в своей осенней печали. И может быть, поэтому я ощутил на сердце большую тяжесть, какую-то неясную горечь, словно перед смертью. Мы вышли на опушку, туман рассеялся. Огромный лес остался позади нас со своими зарослями и со своей тайной, словно живое существо со своими горестями, гневом и жалобами. Осень витала над ним, как смертный сон. Мэриука на мгновение возникла перед моими глазами и растаяла, словно дымка, мысль о гибели барина льдиною легла мне на сердце.

Да, малыш, сильно любил я лес в дни моей юности…

Так рассказывал мне дедушка, сидя у большой старинной печки. Рассказал и умолк. А снаружи вздыхал и жаловался осенний ветер.

Шестьсот лей
Перевод Ю. Кожевникова

{11}

Вот что рассказал мне один приятель.

Как-то утром явились ко мне два мужика. Один из них, рослый, с мужественным открытым лицом, заговорил первый:

— Мы пришли к вам по нашему делу…

— Это давнишняя наша беда, от которой все мы страдаем… — поспешил добавить другой, худощавый и немного сутулый.

— Мы решили составить прошение… — продолжал первый.

— Написать жалобу… Нас четырнадцать человек, и все мы бедствуем… — пробормотал худой и робко улыбнулся.

Это была тяжба из-за земли, с которой в общих чертах я был уже знаком: несколько дней назад суть дела мне уже изложил этот невысокий му-

---

{11} Комментарии: 11

ШЕСТЬСОТ ЛЕЙ (SASE SUTE DE LEI)

Рассказ впервые напечатан в журнале «Виада ромыняскэ», в 1911 г. Вошел в сборник «Подстрекатель» (1912). На русском языке впервые опубликован в сборнике: Михаил Садовяну. Место, где ничего не произошло… ГИХЛ, 1963.

жик, которого звали Петре Нэстасе. И сейчас он первым стал объяснять мне, «как все было». Несмотря на то что он казался очень взволнованным и даже немного заикался, второй крестьянин, по имени Некулай Флоре, не вмешивался в его рассказ. Его сбивчивая речь и заиканье производили даже трогательное впечатление, словно это звучала натянутая до предела тетива. В его глазах был какой-то лихорадочный блеск, и печальная улыбка не сходила с лица.

— Дело было так. Я уже вам об этом говорил… Власти разделили Монастырский пруд и выделили людям по пять гектаров. Построили мы село, глядишь, с божьей помощью, возведем и школу, и церковь… Пруд этот большой и старый, да вы его и сами знаете. Существует он с тех пор, как люди себя помнят. Запруду поставили лет триста тому назад, а то и все четыреста, еще при господаре Штефане, как поминается в разных «грамотах». Рыбы в нем хоть отбавляй, летом на рыбную ловлю мы на лодках под парусами выходим… И какой только живности в нем нету… Никто не ведает, что там водится в его омутах. У старого камыша корни такие, что с доброе дерево будут, а тростник растет по берегам густой, словно щетка, высокий и стройный, ну будто

войско выстроилось… Когда спускали этот пруд, то вода десять дней стекала, а вместе с водой из глубоких омутов шли коричневые карпы, такие матерые, чисто свиньи… Так вот, господин хороший, разделили мы эту землю… Прорыли канавы, чтобы окончательно спустить воду, стали перекапывать дно, корчевать камыш да тростник… Работали не покладая рук… Мы ведь из Рэдэшень и знаем, сколько земля стоит… Семь лет подряд трудились мы в поте лица своего, чтобы дно, где водились карпы да собирались водяные змеи, сделать пахотной землей… Теперь каждый может увидать: Монастырский пруд стал райским садом. По бывшему берегу растут ракиты, а хлеб на полях — любо-дорого посмотреть — хочет вырасти выше этих ракит. Но вот видите, как все случилось. Я ведь вам уже говорил. Мы с нашей землею живем как раз на самом краю, рядом с границей. Три года тому назад приехала к нам комиссия и стала что-то мерить. Мерили, мерили они, прикидывали и так и этак и заявили, что им неизвестно, чтобы граница шла прямиком через пруд, и провели другую границу так, что часть наших земель отошла к той стороне. Выходит, что все наши труды пошли прахом. Столько лет мы очищали этот пруд, а когда пришло время

радоваться, явилась эта «комиссия» и отобрала у нас землю…

Говорил он быстро и, задохнувшись, умолк.

— Что же нам теперь делать? — тихо спросил другой крестьянин, Некулай Флоре.

— Что же делать-то нам? — подхватил Нэстасе. — Посылали мы в Бухарест «обжалование». Трое из нас ездили в Бухарест к нашему депутату и к высшему начальству… Мы уж и деньги собирали, кто сколько мог, и ноги до крови стерли, обивая все пороги… И суд был, только мы ничего не поняли… Уже два лета миновало, а мы все без земли, словно сироты злосчастные… Одно лишь горе на наши головы!

— Что же вам сказал ваш депутат?

— Сказал, чтобы ожидали, там видно будет… — ответил Флоре.

— Будем ждать справедливости до самой смерти! — выпалил Заика. — Ему что, укатил в Бухарест, пирует там с боярами, в карты играет, а за нас у него голова не болит! Думается мне, что правильно сказал один старик, что наши старинные права давным-давно похоронены. Теперь мы, четырнадцать человек, надумали написать жалобу…

Нэстасе посмотрел на меня, робко улыбнув-

шись, и еще больше сгорбился.

— Нам сказали, что вы сможете изложить на бумаге всю человеческую боль. К тому же говорят, что у вас есть друзья… Ведь поговорка гласит: без святых и до господа бога не достучишься…

— Хорошо, я напишу вам жалобу, — ответил я, — если государство выделило вам землю, значит, оно вас просто так не оставит…

— Государство — оно тоже должно свой порядок блюсти. Ведь пруд-то был нашей собственностью… На это старинные грамоты существуют… Не нахрапом же мы его захватили…

Некулай Флоре принялся рассказывать, как происходил обмер земли, как комиссия пренебрегала и старыми межевыми знаками, и свидетелями, и старинными документами. От одного доброго приятеля, который в то время был в тех местах префектом, мне было известно, что из-за отсутствия старых пограничных знаков часть земли при «уточнении» границы отошла к Австрии, а в других местах какая-то часть земли перешла к нам. Мой друг, защищавший интересы крестьян, имел какие-то неприятности, поскольку обстановка была весьма запутанной. То, что с крестьянами поступили несправедливо и явно обидели их, — это было настолько очевидно, что

он неустанно обивал разные пороги. Но потом сменилось правительство, и крестьяне решили обратиться к другим людям. Хотя мой приятель вел это дело из самых благородных побуждений, даже не помышляя о каком-либо вознаграждении и мог бы, уже как адвокат, защищать интересы крестьян и при другом правительстве, однако четырнадцать обиженных судьбою мужиков вдруг покинули его и решили стучаться в другие двери. Но я не думаю, чтобы из всех, кто открывал перед ними эти двери, нашелся хоть один человек, который бы не подумал, что вместе с тяжбой этих четырнадцати мужиков и ему перепадет жирный кусок…

— Были мы у разных людей… Вроде бы и не с пустыми руками… Давали мы, сколько нужно и сколько могли, — заговорил Нэстасе. — Только никто и ничего не сделал. Может, вы изложите на бумаге нашу беду и постараетесь… Нас всего четырнадцать человек, сложились мы — кто сколько мог — и собрали шестьсот лей. Если хоть что-нибудь получится, то мы, значит, сделаем вам наше скромное подношение…

— Вот что, — ответил я. — Я знаю, как делаются такие дела, и полагаю, что здесь могут быть два решения. Или вопрос о границе будет пересмот-

рен, и тогда, на основе доказательств, которые вы предъявите, возможно, вам вернут отобранные земли. Или же, если отрезанный у вас участок земли так и останется австрийским, то государство обязано выделить вам землю, ну хотя бы в Мерешть, где был отрезан кусок от австрийской территории, когда проводили границу…

— Очень хорошо, — отозвался Нэстасе, — мы и за это благодарим, только бы нам не остаться обездоленными и нищими… Чтобы дети наши не проклинали нас за то, что мы не оставили им ни кола ни двора, никакой лачуги, где бы они могли найти себе приют…

Флоре добавил:

— За это доброе дело отдадим мы вам все деньги, что собрали, и будем из рода в род поминать вас добрым словом.

Конечно, я от всей души хотел им всячески помочь и потому ответил:

— Если речь идет о добром деле, о благодеянии, как вы говорите, тогда я и так все сделаю, без всякой платы… Если вы мне заплатите, значит, я буду работать по найму, а я хочу действительно сделать для вас доброе дело… Кроме этого, что вы думаете, я должен буду сделать? Я изложу на бумаге все, что вы мне скажете, и то, что я сам знаю,

и попрошу кого-нибудь из властей разобраться в этом деле… Я думаю, что ваша просьба будет удовлетворена, потому что вы имеете право…

— Вот именно, вот именно… — На лице Нэстасе появилась добрая улыбка. — Я тоже думаю, что правда на нашей стороне… Так оно и будет!.. — шепнул он Флоре, поднимая палец вверх. Потом он обратился в мою сторону: — А за все расходы, за хлопоты, за все мы отблагодарим вас. Вот у нас есть шестьсот лей!.. Для этого мы их и собрали…

— Зачем? Я вам составлю бумагу, направлю ее куда следует, а деньги вы оставьте себе…

Флоре хотел что-то сказать, а Нэстасе ухмыльнулся, опустив глаза в землю.

— Хорошо. Так-то оно так. Может, вы и правы… Напишите нам бумагу… и все такое… чтобы мы получили то, что потеряли… Вот у нас есть еще шестьсот лей… Нам уже приходилось деньги давать, может, на этот раз и не без пользы будет…

Мне показалась странной эта настойчивость, и я постарался убедить этих крестьян, что я по профессии вовсе не ходатай по делам, я попытался внушить им и другое, а именно, что я благорасположен к трудящимся людям. Но поскольку это было чрезвычайно трудно, я остановился посередине тирады, ощутив нечто вроде стыда, и

постарался скорее закончить свою речь, заключив ее коротким заявлением, что я все сделаю так, как надлежит, но только не возьму никакой платы.

— Хорошо! — вздохнул с сожалением Петре Нэстасе. — Может, мы чего-нибудь сообразим… Когда работали землемеры, был у нас один человек, господин Аркиум Головей, который говорил, что стоит за нас горой… Но потом мы поняли, что он сговорился с чужаками и продал нас этим австриякам…

Он подразумевал моего приятеля, который мне рассказывал об этом деле и сам обивал пороги, защищая интересы крестьян. Я попробовал им объяснить, что они ошибаются, что ничего подобного не было и прочее…

— Ладно!.. — снова вздохнул Петре Нэстасе. — Напишите нам тогда жалобу…

Мы договорились, когда они снова придут ко мне, чтобы я мог прочитать им бумагу и отослать ее куда следует.

Крестьяне ушли и больше ко мне не явились.

Прошло несколько недель, и Костан Герасим, крестьянин из того же села, откуда были и приходившие ко мне мужики, с которым я хорошо знаком, затеял разговор о старой мужицкой беде,

когда земли, бывшие некогда дном большого пруда, отдали австрийцам. Ходили слухи, что землю перемеривали еще раз, чтобы вернуть ее крестьянам, но люди до сих пор продолжают бедовать, потому что ничего они не получили.

— Барин, — сказал он в конце концов, — я у вас работаю уже год и немножечко вас знаю… Мне ведомо, что приходили к вам двое из мужиков, на которых два года назад обрушилась беда, и просили вас чем-нибудь помочь…

— Приходили. Они хотели мне дать шестьсот лей.

— Эх, барин, я же им втолковывал: люди добрые, почему вы не послушаетесь этого барина, ведь он сможет вам помочь… А они как поступили?.. Вернулись в село, посоветовались между собой, а потом не явились, чтобы взять прошение. Сказали, что боятся, как бы вы их тоже не продали… Вот почему вы не захотели взять шестьсот лей? Другие ничего не могли сделать, а все равно брали. А вот вы, если можете им помочь, почему не берете денег? Вы, барин, не гневайтесь, но ведь у наших мужиков горя хоть отбавляй… Вот ведь господин Аркиум, разве он не продал землю австриякам?

На этот раз я уже не думал, что смогу как-ни-

будь обелить господина Головея. Я понял, что это тщетно!

— Я им советую, барин, чтобы они снова пришли к вам. Нэстасе — это тот, который заика, он снова к вам придет…

Я не возражал, и через два дня появился Петре Нэстасе со своей робкой улыбкой. В его сбивчивых речах снова звучало горе. Он опять выглядел подавленным, просил прощенья, что все так получилось, что они тогда не смогли прийти ко мне, оправдывался как мог и все время настойчиво, хотя и не говоря прямо, давал мне понять, что за мои хлопоты они, четырнадцать мужиков, собрали шестьсот лей…

Вэлинашев омут
Перевод М. Фридмана

{12}

I

Фамилии и прозвища у них были самые удивительные. Попа Костаке, у которого борода мочалкой, прозвали «Земля Горит», потому что его тощая, высокая, сутуловатая фигура носилась от зари до зари по уличкам и закоулкам села. Писарю от родителей досталась фамилия Сковородня, что в здешних местах означало род пирога; в народе его называли еще Вертишейкой — он напоминал ту птичку, что чирикает весной на макушках деревьев, беспрестанно вертя головкой, словно она у нее на штыре. Старосту Дэскэлеску, щуплого человечка с маленькими черными глазками, окрестили Сусликом. Что же касается

{12} Комментарии: 12

ВЭЛИНАШЕВ ОМУТ (BULBOANA LUI VALINĂŞ)

Новелла впервые опубликована в 1920 г. Вошла в сборник «Голубой аист» (1921). На русском языке опубликована в сборнике: Михаил Садовяну. По Серету мельница плывет. Боярский грех. Кроты. Вэлинашев омут. ГИХЛ, 1954.

«Тальянца», господина инженера Джованни Шагамоцци, то у жителей долины Бистрицы он значился просто-напросто «господином Жувани», а то еще «господином Шагомовцы». Он был бородат, коренаст, с брюшком; в левом углу рта у него неизменно торчала короткая трубка.

В то лето господин Жувани, поп Земля Горит, Вертишейка и Суслик были неразлучными друзьями и каждый день в послеобеденные часы сходились в трактирчике на Загибе потолковать о том о сем. Там, между вековыми елями, имелось уединенное местечко, откуда можно было видеть, как внизу, в долине, прозрачное небо отражается в водах Бистрицы. Когда солнце погружалось в густые туманы горы Чахлэу, господин инженер со стаканом в руке выходил из-под елей и восторженными криками приветствовал гору, будто сказочного царя-великана в мантии из пурпура и золота, с бородой и кудрями из мглистых завитков. Левой рукой он театральным жестом поднимал стакан, правой срывал с головы широкополую шляпу и хриплым баритоном издавал какие-то звуки на таком мудреном языке, что трое остальных надрывались со смеху.

Успокоившись и высморкавшись в красный платок, поп возглашал:

— Ну и Тальянец! Потеха с ним…

Дэскэлеску и Сковородня чокались с инженером и тут же принимали вид чинный и важный, дабы спокойно насладиться вином.

Равнодушным к горам, к шумным возгласам и к смеху оставался лишь хозяин кабачка — господин Лейбука Лейзер. Он был «дрептаром», то есть полноправным гражданином, так как в 1877 году перешел Дунай солдатом. Его тоже наградили прозвищем «Слезинка», потому что, когда он, весь утонув в черной бороде, стоял в часы одиночества за стойкой, погруженный в размышления о судьбах своих шестерых детей, на кончике его острого носа нет-нет да и повисала блестящая капля.

Лейбука Лейзер был человек серьезный и начитанный. Как подобает серьезному мужу, он, не в пример господину Шагомовцы, не тратил времени на созерцание Чахлэу и Бистрицы, а тем паче на произнесение высокопарных речей. А по части учености, особенно когда дело касалось его книг, в которых буквы походили на пауков, сам господин инженер не мог с ним сравниться. Иногда они наперебой принимались толковать библейские изречения, размахивая руками и растопыривая пальцы, увязая в доказательствах, как в болоте, пока не поднимался батюшка Земля

Горит и, простирая руки, будто предавая анафеме антихриста, говорил:

— Да отринь ты от себя язычника, господин Жувани! Вино прокисает.

Итальянец, питавший к вину большую слабость, смеясь, возвращался к приятелям, брался за стакан и вынимал трубку изо рта, а ученый спор так и оставался неразрешенным. Еврей молча стоял, опершись о дверной косяк бревенчатого дома, и в зрачках его спокойных, задумчивых глаз виднелось отражение четырех приятелей, которые, пожелав друг другу всяких благ, чокались и опрокидывали стаканчики.

Господин Лейбука относился с некоторым презрением к этому уголку мира, где он поселился, чтобы заработать кусок хлеба для себя и своих отпрысков. Рабочие с лесопилок, итальянцы, строившие большое шоссе и каменные мосты, — все приходили сюда отдохнуть в тени и с поразительной беспечностью спускали у стойки весь свой заработок: пили, ели, галдели… Все наслаждались жизнью, прожигая и растрачивая ее на песни и веселье, на вино и любовное томление. Солнце, земля, воды Бистрицы, белые стада, позвякивающие медными колокольчиками на ближних холмах, лесная сень, живые арки

горных ключей и прочая суета этого мира — все имело для них смысл, которого он не понимал. Суета сует, думал Лейбука. Все мечутся, спеша к смерти. И ничего после себя не оставляют. Они смеются и поют, — им неведом, как патриарху Аврааму, суровый долг упрочить силу рода, терпеливо укреплять его для будущего, ценой страданий и лишений в настоящем… Они улыбаются солнцу, лесам и реке. А он, Лейбука, живет в тени своей хижины, в пустынных равнодушных горах. Сколько раз вскакивал он темной ночью, дрожа, и сердце его замирало от ужаса: ведь он понимает, что деньги, которые непрерывно текут к нему на стойку, могут пробудить кровожадные страсти. Лейбука знает об опасности; знает, что не сможет устранить ее ни силою своей руки, ни мужеством, — и все-таки он с отвращением, с боязнью продолжает жить здесь, потому что так нужно, потому что он должен вырастить шестерых детей. «Четыре сына и две дочери, пошли им небо долгой жизни…»

С господином писарем приключилась большая неприятность, «история», к которой он упорно возвращался, словно «лиса в курятник», — как повторяет с ехидным смешком поп Земля Горит. В этот августовский предвечерний час Верти-

шейка снова заговорил о ней, и глаза его вновь потускнели. Под навесом ветвей за еловым столом сидели лишь четверо друзей. «Бугай» еще не известил о конце работы, и Лейбука дремал, стоя на пороге, прислонившись головой к дверному косяку, как всегда, безучастный и к яркому свету знойного дня, заливающему долину, и к горам, которые отчетливо вырисовывались на ясном зеленоватом небе. Господин писарь с какой-то ненавистью глядел на село, разбросанное по склонам и пригоркам, на белые домики, крытые дранкой и огороженные дощатыми заборами, на серые тропинки, спускающиеся к Бистрице, на поросль молодых елей, на стадо овечек и далекую деревянную церквушку на невысоком холме.

Он говорил хрипловатым голосом:

— Кто я такой в конце концов, чтобы надо мной измывалась племянница тетки Параскивы? Иду сегодня утром в примэрию, она — навстречу. «Слушай, говорю, Мэдэлина, ты знаешь, кто я и что я могу. У меня, коли рассержусь, рука тяжелая!»

Староста слегка толкнул его локтем, показав глазами на Лейбуку. Сковородня равнодушно оттопырил губу:

— Он не слышит, а если и слышит, то должен

молчать. «У меня рука тяжелая, говорю. Уже год, видишь ли, как я за тобой бегаю. А ты, словно царица какая, кривишь рот и отворачиваешься…»

— А она что ответила? — спросил, как обычно, инженер, облокачиваясь на стол и подпирая ладонью подбородок.

— Старая история, — вмешался батюшка. — Опять ты ее спросил, опять она тебе не ответила, и опять ты жалуешься.

— А мне думается — она теперь поняла: дело идет о жизни и смерти, — сурово проговорил Сковородня.

Его товарищи с сомнением уставились на него.

— Гм! Что же, долго мне еще терпеть, на медленном огне жариться? «Школу, говорю, я закончил, образованный и в гимназиях учился, первым все классы прошел, поди-кося сыщи другого такого в Поноаре. Работа у меня не тяжелая; гонять плоты в Пьятру, бороться, словно каторжному, с волнами, бурями да скалами, как некоторым другим, мне не приходится. Да я с моей образованностью да пером могу тебя в шелка и жемчуга нарядить, как королеву… Летось, когда ездил в Яссы, я привез оттуда альбом в голубом бархатном переплете, стихи разные в него запечатлел и преподнес тебе ко дню ангела. А ты прочи-

тать-то прочитала и поняла, а сделала вид, будто не понимаешь. Послал я тебе через тетку твою Параскиву весточку; тетка тебя вразумляла быть послушной, чтобы все добром кончилось… Каждое воскресенье я в церкви бываю, глаз с тебя не свожу…» И знаете, что мне девка ответила?

— Что же она тебе ответила? — пробормотал итальянец, не вынимая трубки изо рта.

— Что недаром, мол, меня зовут Вертишейкой. Что вы на это скажете! «Дорогая Мэдэлина, говорю, плохие шутки шутить изволишь! Мне твои проделки доподлинно известны. Знаю, с кем встречалась у Вэлинашева омута и в чьи глаза глядела. Мне все известно, есть у меня кого приставить, чтобы тенью ходил за тобой. Так ты что же, решила загубить свою жизнь с этаким хамовым отродием, с Илие Бэдишором? Ведь он, девка, только и знает горы да Бистрицу — и то до околицы. Ведь он даже Ясс в глаза не видел. Он все равно что дикарь: босой, рожа дубленая, под мышкой топор. Только и умеет, что плоты по Бистрице гонять да сивуху потягивать. А когда начнут трепать волны и бури, вылезет на берег и отсиживается в каменной норе. Одно слово — плотогон! И кончит он тем же манером, что отец, — либо на острых скалах, либо в водовороте;

и волны выбросят его вместе с илом и мусором где-нибудь у залива на крутом изгибе реки… Да полно, в уме ли ты! И что ты в нем нашла? Красив? Нет! Умен? Тоже нет. Голь перекатная! И тетка тебе то же говорила…» И знаете, что она мне ответила? — продолжал писарь, угрюмо глядя на своих товарищей.

— Ну? — подзадорил его инженер, перекатывая трубку из одного угла рта в другой.

— Спросила, отец я ей, что ли, или брат?

— Разумеется! — встрепенулся батюшка Костаке и, воспользовавшись удобным случаем, наполнил стакан.

— Тут уж я, господа, рассердился… «Если на то пошло, говорю, так знай же: я его и в солдаты отдать могу. Вот уж год, как я тебя избрал, чтобы жить нам вместе, в любви и согласии. Уж год я чахну от любви. Говорил я тебе об этом и стихи писал. А ты меня, стало быть, оценить не можешь! Так пускай идет служить, пускай ему скулы свернут в армии. Там и сложит он свои косточки…»

— Подлил масла в огонь! — философски заметил инженер.

— Э, нет! Сначала она было перепугалась.

— В солдаты его не могут взять, — вмешался

староста. — Он единственный сын вдовы.

— Да, она мне тоже потом это сказала. Но я ответил, что все равно его отправлю. «Я, говорю, милая, все могу». Тут она опять испугалась. А потом рассмеялась, скривила этак рот, отвернулась — и была такова… Вот теперь вы мне и скажите, доколе будет так продолжаться? Я мечусь, покоя не знаю; поверите ли: как увижу ее — знобить меня всего начинает. Введет она меня в грех.

Лейбука метнул с порога взгляд своих черных глаз и снова принял вид человека, разомлевшего от жара и полуденной тишины.

— Лейзер, вина! — крикнул писарь. — Того же, никорештского. Нравится мне оно. Но что толку, все равно от него на душе не легчает… Так почему, скажи на милость, не могут его взять? — продолжал он, повернувшись к старосте. — Недаром же в конце концов мы начальство здесь, в деревне? Если уж и потешить себя нельзя, когда охота, так на кой же леший жить на свете?

— На то и живем, чтоб согреться винцом, — отозвался батюшка Земля Горит. — А мертвых не воскресить. Что тут поделаешь? Отец Илие давно, верно, сгнил на дне Бистрицы.

Шагомовцы серьезно смотрел на Вертишейку, попыхивая трубкой.

— Слушай, писарь, так нельзя, — проговорил он тихо.

— Гм! — крякнул Сковородня, доставая нижней губой кончик уса и покусывая его зубами. — Ты, господин Джованни, в это дело не вмешивайся. Предоставь нам самим поступать как знаем. Я вижу, что это трудно, — оттого на душе и кипит… Уж и не знаю, до чего дойду, но Илие Бэдишора я должен скрутить в бараний рог. Мысль эта, как птица, свила гнездо вот здесь, в голове. И высидит птенцов, ей-ей высидит, — осклабился он, принимая графин с вином из рук Лейбуки. — Давай стакан, господин Тальянец. Опять ты косяк подпираешь, Лейзер? Какое понятие может быть у жида? Все со своей хозяйкой да со щенками своими. Нет ему ни счастья в стаканчике малом, ни радости под одеялом. Чего ухмыляешься, господин Лейзер?

— А я и не ухмыляюсь.

— Нда. Кто тебя знает, какие у тебя мысли в голове. Дураки мы все, а?

— Я этого не говорю.

— Не говоришь, зато думаешь. Откуда тебе знать толк в жизни? Глуп, кто не наслаждается ею, зря его мать на свет произвела. А мне желательно доставить себе удовольствие сегодня,

потому как завтра меня, может, уже не будет. Дни человека что трава! Так, господин Джованни? Ты ведь философии обучался… Выпьем еще по стаканчику — вот мы и будем в выигрыше.

— Сказать по правде, в выигрыше-то здесь будет один хозяин, — заметил отец Земля Горит.

— Ну нет, выиграем от этого мы. Я вот поднимаю чарку за ваше здоровье и радуюсь, что мы опять вместе. Не трактирщик радуется, а я. И попрошу его принести еще графинчик. Господин Лейзер, проснись и похлопочи насчет винца. Я желаю выпить с вами за одну известную мне особу. Вот увидите, господа, все будет как нельзя лучше. Придет день, когда она повиснет у меня на шее. А если нет, останется только одно: головой в Бистрицу.

— Ничего, она угомонится, — заверил его староста.

— А кто ее знает? В ней сам черт сидит, — мрачно закончил Сковородня, устремив взгляд куда-то вдаль, в невидимую точку.

Лейзер, все такой же невозмутимый, принес вино. Друзья выпили, но для писаря по-прежнему все было затянуто туманом.

Позже, когда в горах на лесопилке проревел «бугай» и по тропинкам, как муравьи, поползли

рабочие, четверо друзей поднялись и вышли на солнечный свет. Они были немножко под хмельком. Писарь шагал нетвердо, что приводило в восторг отца Земля Горит, который, подмигивая инженеру и старосте, криво усмехался, обнажая острый клык. Они шли к Поноаре, будто окруженные золотистым пухом. Над горными долинами и оврагами царило величавое спокойствие. Далеко над вершиной Чахлэу, прямо перед солнцем, стояло лиловатое облако, словно окаймленное застывшей молнией. А в мирной тишине заката от большого шоссе, которое строил Шагомовцы, с песнями поднимались в гору рабочие-итальянцы.

II

По склону горы к трактиру шел человек. Это был высокий босой плотогон в засученных до колен штанах. На левой, согнутой руке у него висел топор. Он оглядел встречных белесыми глазами, казавшимися страшными на его бронзовом, тронутом оспой лицо. Правой рукой снял шляпу и пожелал доброго вечера. Его рыжие волосы, блеснув в огне заката, поднялись торчком, словно вздыбленные ветром. Он тут же снова спрятал их под шляпу, будто спеша уберечь от опасности.

Писарь остановился. Внимательно глядя на него, спросил:

— Откуда ты, Петря?

— С затона, господин Матейеш. Все на плотах работал.

— А теперь идешь в трактир?

— В трактир.

— Я, пожалуй, останусь, — обратился к своим товарищам Сковородня. — Надо кой о чем потолковать с Петрей Царкэ. Завтра, надеюсь, встретимся, как положено.

— Ну, уж это беспременно! — сказал вдруг инженер, а остальные прыснули со смеху. — Наш девиз — постоянство.

Царкэ смотрел на них, вытаращив глаза и разинув рот. Потом он подумал, что батюшка, староста, а в особенности писарь научились, должно быть, говорить по-итальянски, и усмехнулся.

Оставшись наедине с плотовщиком, Сковородня долго припоминал, для чего он его задержал. Побудило его к этому что-то смутное, неожиданно мелькнувшее в голове… Петря Царкэ был известен в горах подлым нравом и темными делишками. Он любил проводить время в корчмах, в шумном кругу друзей; быстро вспыхивал и не знал жалости. Немало разбил он голов и перело-

мал ребер; частенько приходилось жандармам тащить его, связанного, в кутузку. Что-то темное было у него в прошлом и с военной службой. Писарь знал об этом. Невыясненным оставалось также дело с попыткой ограбления кассира горной лесопилки. В этом был замешан и сам писарь: укрыл тогда Петрю — своего человека, принесшего немало пользы во время парламентских выборов, — здоровая глотка и огромный кулак Царкэ совершали тогда чудеса в корчмах города Пьятра.

— Вот что, Царкэ, — сказал вдруг писарь. — Я хотел тебя спросить, не встречал ли ты сегодня Бэдишора.

— Илие? Видал, как же: он на плотах работал. Да ведь мы с ним — как немец с турком. Проходим один мимо другого: я ничего не говорю, и он ничего…

— С чего бы?

— Да уж такой он человек. Мы с ним вместе и стакана вина не распили. Он все больше с бабами. Пока усы не пробились, весь заработок вытряхивал в подол матери. А теперь носится как ошалелый за юбкой Мэдэлины. Что ж! Всякому свое.

— Стало быть, и ты знаешь, что он волочится

за девкой?

— А кто же этого не знает? Я вот сюда, а он вверх по берегу Бистрицы…

Сковородня вдруг посмотрел на него расширившимися, налитыми кровью глазами.

— Пошел на свидание с ней.

— Конечно, господин Матейеш. И что вы на меня так уставились? — осклабился плотовщик. — Злая это болезнь, как погляжу я, господин Матейеш. Кое о чем доводилось слышать от людей. Но я думал, все прошло. А теперь сдается мне, что сынок Ирины вам как сучок в глазу.

Писарь пристально, не мигая, смотрел на него.

— Так, значит?.. — удивленно протянул Петря, и даже какая-то веселость прозвучала в его голосе. Он вынул кисет, развязал его и скрутил здоровенную цигарку. Пристроив ее в угол рта, он, пока высекал искры, глядел на трут и кивал головой, словно отвечая на заданные самому себе вопросы. Выпустив из ноздрей две струйки дыма, Петря по-свойски еще на шаг придвинулся к писарю.

— Выходит, господин Матейеш:

От болезни сляжешь — охнешь,
От любви же сляжешь — сдохнешь.

Ничего! Я буду вашим лекарем. Ведь мы с вами ладим, живем в дружбе. Как говорится: «Рука руку моет». Кто знает, господин Матейеш, что может случиться. Глядишь, Илие тоже отправится к рыбам в каком-нибудь омуте, как и его родитель.

При этом он опять ухмыльнулся и тряхнул головой, словно дивясь собственной мысли.

— Он к Вэлинашеву омуту пошел? — спросил Сковородня.

— Да. Есть там одно местечко — красота райская! Так мы еще посмотрим, что нам делать, еще потолкуем. Верно я говорю, господин писарь? А там, глядишь, стрясется и со мной какая-нибудь неприятность или, как говорит батюшка, «история»... Так я к вам прямо и приду, господин Матейеш. Вы человек образованный, знаете, как чего в книги записывать. Не приведи бог какая-нибудь беда, вы меня и прикроете крылышком. Ну, что скажете, господин Матейеш?

— Потолковать надо, — тихо ответил писарь.

— Конечно. Всего хорошего.

Царкэ двинулся дальше, глубоко затягиваясь толстой цигаркой. Он поднимался мерной подпрыгивающей походкой все выше по склону горы, выделяясь черным силуэтом на розовом фоне заката. Сверху, со стороны трактирчика,

долетел неясный шум, в котором отчетливо слышалось лишь тонкое треньканье струн. Внизу, в излучине Бистрицы, отражалось далекое небо цвета фиалки. Два невидимых колокольчика прозвенели на разные голоса со стороны села.

А по одинокой тропинке, все думая об одном, шел писарь туда, куда несли его ноги.

В самом деле, Петря Царкэ прояснил его смутную мысль: теперь писарь понял, зачем остановил его. Как будто странный зверь, внезапно вставший между ними, вселился в него и сжал его сердце. Возбужденный намеками плотовщика и вином Лейбуки Лейзера, господин Сковородня, исполненный решимости, шагал по направлению к омуту Вэлинаша. Недоумение и давняя злоба терзали его. Как, неужели этот голяк, дикарь может стать ему поперек дороги? Что за бес заставляет женщин делать все наоборот? Сначала он было решил, что это с ее стороны просто игра, и даже слегка радовался: девушка не так легко сдается, как другие. Ему хорошо был знаком путь к сердцам, проложенный при помощи хитрых слов да нитки бус… Таких слов у него хоть отбавляй, а нитку бус он носил в нагрудном кармане, в бумажке, обвязанной голубой тесемочкой. Но Мэдэлина все равно отворачивала голову. То-

ненькая и гибкая в своей черной катринце{13}, она проносилась мимо него, еле удостаивая его взглядом, «словно какую-нибудь собачонку», думал он.

Вот этого-то писарь и не мог вытерпеть! Вначале он вскипал от гнева, а потом начал биться, словно опутанный невидимой сетью. Обессиленный, он чувствовал, как его уносит поток страсти. А теперь, с тех пор как узнал, на чьи опаленные солнцем лапы склоняется белый, как у царевны, лоб девушки, он кипел лютой злобой.

Очутившись на большаке между крайними хатами деревни, господин Матейеш очнулся. Оказывается, он свернул с дороги к омуту. Куда же он идет?

В хлевах мычали коровы, во дворах разводили огонь под таганами. Пахло кипяченым молоком. Протяжные голоса перекликались на взгорьях. Писарь встретил крестьянина, ровным голосом пожелавшего ему «доброго вечера», затем быстрым плавным шагом прошла женщина с прялкой за поясом… Вслед за ней показался тонкий силуэт, который смутно вырисовывался в густеющих сумерках, но писарь сразу узнал его, и сердце

{13} Комментарии: 13

Катринца — домотканая юбка *(рум.).*

заколотилось у него в груди. Это была Мэдэлина.

— Добрый вечер, — сказал Сковородня и остановился.

Девушка, не задерживаясь, тихо ответила:

— Вечер добрый.

Господин Матейеш повернул обратно и пошел за Мэдэлиной. Он заговорил с легкой издевкой:

— Куда это ты, Мэдэлина? Нельзя ли мне узнать? Может, вы, барышня, сделаете одолжение и остановитесь на минуту?

— Извольте. Что вам нужно? — спросила тонким, певучим голосом девушка.

Она остановилась и повернулась к писарю лицом. Глаза у нее были большие, косы уложены короной. В белой рубахе, в тесной катринце, сужающейся книзу, к голым щиколоткам, она стояла неподвижно и ждала. Приблизившись к ней, он почувствовал запах чабреца. Глаза у писаря разгорелись.

— Мэдэлина, — обратился он к ней, — ну почему ты не хочешь меня понять?

— Так вот что вы хотели сказать! — И девушка добродушно рассмеялась. — Отложим, господин Матейеш, разговор до другого раза.

— А почему?

— Почему? Этого я вам сейчас не скажу. Сходите

к тетушке Параскиве, она вам скажет…

Сковородня, вздрогнув от нахлынувшей радости, хотел было схватить ее за руку. Но она уже шла дальше своим легким шагом и скрылась в тени дощатого забора. Смущенный, господин Матейеш постоял минуту в раздумье. Как-то непонятно было все это. И только когда он зашагал по направлению к дому тетушки Параскивы, его осенила смутная догадка, что девушка просто хотела ускользнуть от него. И все же минутная радость вселила в него надежду: может быть, осуществится наконец то, чего он так страстно желал. В светлых сумерках писарь прошел вдоль забора к домику с двумя елями, в котором жила тетка Мэдэлины.

III

Мэдэлина знала, что скоро взойдет луна. Иначе ей было бы страшно идти берегом реки под высокими елями. Спрятавшись в тени за поворотом, она постояла несколько минут, чтобы удостовериться, не преследует ли ее господин Матейеш. Она лукаво улыбалась в темноте, и черные глаза ее искрились, как играющая в лунном свете речная рябь. Потом она быстро зашагала вперед, спустилась крутым разлогом прямо к Бистрице и

пошла пусторослью.

Очутившись затем под навесом еловых ветвей, девушка перестала что-либо различать, словно ей прикрыли глаза. Сердце так и заколотилось в груди. Выбравшись из ельника, будто из сумрачной пещеры, она как будто попала в совсем иной мир. В лиловой дымке показалась над деревьями громадная красная луна. Живой мостик из золотой чешуи протянулся по стремнине между луною и девушкой и заскользил вверх по течению.

Из расщелины скалы, словно поджидая ее в засаде, внезапно забила струйка воды. Босые ноги девушки быстро ступали по белой тропинке. Речная ласточка пронзительно крикнула два раза и, скользнув над самой поверхностью воды, скрылась на той стороне. Бистрица разливалась здесь широким плесом и отдыхала в тихой дремоте под сенью развесистых ив. Мэдэлина остановилась. Вдруг она коротко вскрикнула и тут же рассмеялась. Чьи-то руки обхватили ее сзади за плечи, под левым ухом она ощутила мягкое прикосновение коротких усов Илие Бэдишора.

— Ты это? И набралась же я страху!

Парень, освещенный луной, появился перед ней. Он был выше ее, в круглой соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, в коротенькой сермяге,

с чеканом под мышкой. Он, как ребенка, обхватил Мэдэлину одной рукой, и глаза его блеснули в глубоких глазницах, когда он привлек ее к себе, чтобы поцеловать. Она отстранилась, откинув назад голову. Потом притихла и прильнула к его плечу, с трепетом вновь ощущая прикосновение небольших мягких усов…

Прямо перед ними в свете луны лежал таинственный старый омут Вэлинаша. С давних пор носил он имя безвестного парня. Никто не помнил Вэлинаша, но песню о нем распевали повсюду в горах. Много раз на посиделках певала ее с девушками и Мэдэлина. А потом на этом же самом берегу и ей явился парень, как в старинной песне. Теперь он обнимает ее, а она думает о любви и горестях былых времен.

— Я немножко задержалась, — тихо заговорила девушка.

— Случилось что-нибудь? — озабоченно спросил Илие, что-то уловив в ее голосе.

— Ничего не случилось. На писаря натолкнулась. Только я живо от него избавилась. Послала потолковать с тетушкой.

Она развеселилась, засмеялась. Потом снова понизила голос:

— Он и вчера остановил меня…

Илие молчал. Мэдэлина прильнула к нему и спрятала голову на его груди.

— Закручинилась я, Илиеш. Он говорит, что в солдаты тебя сдаст.

— Кто? Писарь?

— Он. Но я ему ответила, что этого нельзя сделать. Правда ведь, нельзя?

— Правда, — неуверенно ответил Бэдишор. — Матушка-то вдова…

— Ну конечно, у него одни только пакости на уме. Как увижу его, так бы и плюнула да побежала, словно от нечистого. Он и тетушку с толку сбил. И теперь она мне на все лады голову забивает: обвенчается, мол, он с тобой и будет холить, как боярскую дочь… и платье-то тебе справит городское, сапожки лаковые. Но я ее не слушаю и слушать не хочу, — продолжала, ласкаясь, Мэдэлина и сверкнула полными слез глазами. — Мне люб мой Илиеш…

Парень нагнулся и поцеловал ее в глаза, чудесные, как темные бархатные цветы. Девушка тихо засмеялась, потом, снова нахмурившись, продолжала:

— Тетка, может, и рада бы надо мной куражиться, — стала бы притеснять меня, бить и за постылого выйти заставила бы. Да она не смеет,

потому что живет и кормится моей землей, которая досталась мне от родителей, — продает с моей делянки лес. А я притворяюсь, будто не замечаю, лишь бы не трогала меня. Что же ты молчишь, Илиеш, чем ты недоволен?.. Когда поплывешь в Пьятру? Верно, что ты опять собираешься туда?

— А ты откуда знаешь?

— Да ниоткуда. Просто вижу и чувствую. Я сегодня смотрела с горы, как ты плоты вяжешь.

— Да я не потому сердит, Мэдэлина. Через неделю ворочусь обратно.

— Воротись скорей, Илие. Целую неделю буду тосковать. Хоть бы дождь лил все дни, чтобы из дому не выходить.

Парень улыбнулся. Она ребячливо боднула его лбом.

— Я вижу, ты все смеешься. Нет, пускай дождя не будет, чтоб и тебе ничего не грозило на реке. Я узнаю, когда ты воротишься, и буду тебя ждать здесь. Об остальном ты не печалься. Так и состарится бедный господин Матейеш, слоняясь за мной и уговаривая. Он все водится с господами да со всякой немчурой, понаехавшей к нам в горы. Вот и пускай ищет себе городскую. На что я ему? Я девушка простая. Уже год, с самого преображения, другого люблю. Ну скажи, Бэдишор, что и ты

меня любишь!

Парень не находил слов для ответа. Он гладил ее по голове, как ребенка, и чувствовал, что умирает от любви.

Луна ярко освещала их. Они подошли ближе к берегу, уселись в тени под ивой, и на блестящей поверхности омута возникла их черная двойная тень, словно рожденная чарами уединения.

Ни один листок не шелестел. Вся долина, вплоть до фантастических туманов на гребнях гор, молчала. Омут, казалось, застыл. Девушка тихо шептала, припоминая дни, когда зародилась их любовь. Ей нравилось прятаться и попискивать, как цыпленок, под крылышком Бэдишора.

Год назад, скромной девчонкой, она, робея и с замиранием сердца, опустив ресницы, в первый раз вышла на хору{14}. Тогда-то и увидела она среди парней Илие под вековыми елями, возле корчмы Булбука в Поноаре.

Звенели голоса и струны. По обычаю горцев, крестьяне — и мужчины и женщины вместе — пили водку. Здесь быстро вскипала кровь, разговор был горячий. Все отдавались веселью безудержно, со страстью, как бурному потоку. У

{14} Комментарии: 14

Хора — народный танец и место, где происходят танцы *(рум.).*

женщин, одетых в белоснежные рубашки с цветной вышивкой и в узкие катринцы, блуждала на губах какая-то томная улыбка. Белолицые, нарумяненные, разукрашенные цветами и стеклянными бусами, с изменчивым, словно река, взглядом, они сильно отличались от высохших и измученных рабынь, крестьянок равнины. Они вырастали в тени лесов, под грохот горных бурь; жизнь их была не особенно тяжелой, трудились они не так уж много и считали, что живут на свете только для того, чтобы холить свою красоту и любить.

Когда Мэдэлина очутилась в этом людском водовороте, тетка Параскива толкнула ее в толпу девчонок и сейчас же ушла к каким-то кумовьям, которые подзывали ее, размахивая кружками. За девичьим кругом парни, по обычаю тех мест, одни выплясывали на лужайке стремительный, бурный танец. Это было своего рода состязание на виду у всей деревни и, главное, у девушек. Там-то и увидела Мэдэлина Илие.

Он шел впереди длинной цепи танцоров и гордо вел их за собой. Ни на кого не глядя, он двигался и выкрикивал с какой-то особой страстью слова песни. Мэдэлина тоже знала их:

За мной, парни! Мне знакомы

Все тропинки в лес зеленый.

Но Илие выговаривал эти слова с нежностью, с любовью, сразу отозвавшейся в ее сердце. Немного спустя начался танец парами: Мэдэлина сама подошла к Илие и смело улыбнулась. А когда он обхватил ее за талию, первая пожала ему руку. Опьяненная, счастливая, взволнованная, с бьющимся сердцем, девушка все-таки заметила робость парня и сразу же почувствовала в себе гордость и силу. Давно ли она была глупой девчонкой? И вот внезапно превратилась в лукавую женщину. Она походила на серый бутон, который с первыми лучами солнца распустился и зацвел чудесным цветом.

Бэдишор рос тихим, скромным вдовьим сыном. Он ходил неслышно, говорил негромко. И вдруг познал мучительное и сладкое чувство. Теперь жизнь его и страсть слились в одно. В серьезной и строгой, немногословной любви Илие было что-то от горных тайн и туманов. Мэдэлину он считал благом, которое призван защищать до своего смертного часа. Илие не высказывал вслух своих сомнений и под градом докучных вестей, которые, смеясь, сообщала ему девушка, оставался молчаливым. Она же угадывала его напряжение, читала в его душе, как в душе ребенка; порой ее

охватывала дрожь, будто перед опасностью, и именно потому она еще больше любила его.

Странное ощущение, что она безраздельная повелительница Бэдишора, но вместе с тем и маленькая букашка, которую он может раздавить пальцем, Мэдэлина впервые испытала минувшей зимой. Теперь, прижавшись к груди парня и говоря совсем о другом, она вспомнила об этом.

В деревне была свадьба. Вдоль черного леса, по замерзшей Бистрице, под жужжанье семиструнных кобз и пистолетную пальбу, растянулся пышный свадебный поезд. Малорослые кони быстро мчали сани между белыми стенами берегов Бистрицы, по звонкому ледяному настилу. Изредка, на поворотах, на непокрытые головы девушек падал с деревьев иней. Писарь, господин Матейеш, догнал на своих санках Мэдэлину. Смеясь и шутя, он обхватил ее; остальные девушки визжали, словно напуганные волком. Мэдэлина смеялась; ей нечего было бояться писаря. Но когда она обернулась и увидела среди дружек Бэдишора — он смотрел на нее из-под нахмуренных бровей, как из глубины пещеры, — сердце ее сжалось в крупинку и тут же расширилось от безграничной радости.

— Илиеш, — сказала тихо девушка, вспомнив

теперь об этом, — я тебя иногда побаиваюсь.

— И побаивайся, Мэдэлина, — ответил Бэдишор, — ведь у меня только ты одна и есть… Я думаю так… он был в учении…

— Ты о бедном господине писаре?

— Да. Он был в учении, да научился только злу. Здесь, в примэрии, он всем заворачивает, что хочет, то и делает. Разве народ разбирается! Скажет Сковородня, что так в книге написано, — люди пошарят в кошельке и платят. Со старостой он ладит, с попом ладит, с купцами тоже. Сидит, как змей-разбойник у источника, все требует и все глотает. Капли воды нельзя получить, не заплатив ему дани. Но мне с ним делить нечего. Пусть поступает, как хочет. Пути наши не сходятся. Я на Бистрице со своими плотами, он в примэрии со своими книгами. Но к тебе-то чего он привязался? Я вот терплю, но яду во мне все больше. И в конце концов ему не поздоровится.

— Будь разумным, Илие, — решительно сказала девушка. — Нас никто не может разлучить.

— Ладно, Мэдэлина, буду, — мягко ответил Бэдишор. — Я как Бистрица: налетит на нее ветер, она и замутится. Я вот все думаю: кому какое дело до нас? И хочется мне иногда, как дикому зверю, схватить тебя и скрыться в чащу.

— А пусть себе люди говорят, Илиеш. Пусть и тетка Параскива долбит мне с утра до вечера… Она спрашивает, куда иду, а я в ответ: «За земляникой». — «Что ты, девка, какая сейчас земляника?» — «А я нашла, тетушка Параскива. Сладкая такая, и уж как мне нравится». Ничего со мной тетка не сделает, Илиеш!

Парень обнял Мэдэлину и прижал к груди, восхищенный ее словами.

— И не забудь, Илиеш, в Пьятре про бусы…

Смеясь тоненьким голоском, она извивалась в его объятиях, гибкая и упругая, как струпа.

Не скоро выбрались они из своего убежища на яркий свет луны. Они шли, как в дымке сна, как в царстве тишины. Они даже не сознавали, что эта ночь опустилась на землю только для них, почти не замечали ее, обняв друг друга, замкнувшись в свою любовь, будто в раковину. И только много позже девушка вздрогнула, услышав фантастический хохот филина. Птица пролетела сквозь светлую мглу, как сквозь серебряный пух, бесшумно взмахивая крыльями, потом форель плеснула хвостом по воде, рассыпая на стремнине звездочки и зеркальные осколки. Парень с девушкой вошли под черный навес ветвей, а омут все так же блестел под луною, торжественный и

печальный.

IV

Господина писаря Матейеша Сковородню раздирало множество мыслей и желаний. В голове у него бушевал ураган.

Сидел ли он в примэрии, сражаясь с бумагами и с людьми, разбирая ссоры, ходил ли по селу или выпивал с приятелями в кабачке Лейбуки Лейзера — он не переставал думать о своей неудаче и строить планы.

Время от времени сказывались и плоды его раздумий.

Однажды в полдень в воротах тетки Ирины, матери Илие Бэдишора, появился сборщик налогов Гыцу. После того как вышла хозяйка с подоткнутым подолом и собаки унялись, господин сборщик принялся осматривать хозяйство: пересчитал двух телят, пару лошаденок, полюбопытствовал, что за узлы в доме, и стал что-то прикидывать в уме, глядя в разные стороны косящими глазами.

— Что такое? Чего ты там считаешь и высчитываешь? — испуганно спросила вдова, поправляя на голове косынку.

— Меня господин писарь прислал, — сказал

Гыцу. — Вы подати не заплатили!

— Да заплатили мы! Как это так «не заплатили», бог с тобой! Тебе же и платили!

— Мне? Что-то не помню. Квитанция у вас имеется?

— Есть квитанция. Парень мой тоже был тогда дома. Ты ему как раз и дал квитанцию. А я ее положила за икону. Есть, как же, есть.

— Тогда ладно. А то господин писарь подумал, что вы не хотите платить государству. Сын твой в армии не служит, подати не платит. Так пусть идет в суд и отвечает…

— Какой такой суд? — возопила женщина, глядя округлившимися глазами на представителя власти.

Гыцу с улыбкой потер острый нос, поправил съехавший к уху засаленный галстук и тихонько кашлянул.

— Не знаю, тетка Ирина. Пусть отвечает. Он чем занимается? Сидит на бережку и держится за юбку племянницы тетушки Параскивы. Нет, такой парень, как он, богатырь, пусть идет в солдаты, пусть выполнит свой долг и завоюет свои права. Так и сказал господин писарь: «Почему, говорит, он не занимается хозяйством матери? Был бы он разумным парнем — оставил бы в покое девок,

никто бы его тогда и не трогал…»

— Так разве же он виноват? — раздосадованно закричала хозяйка. — Привязалась к нему девчонка; я и то собиралась, как встречу ее, спросить, чего ей дался мой парень.

Тетка Ирина внезапно утихла и, хитро улыбаясь, пристально посмотрела в глаза сборщика, острые, как у хорька.

— Что до меня, — сказала она, заговорщически понизив голос, — то, случись по желанию бедного господина Матейеша, я была бы рада-радехонька.

— Какое там желание, при чем тут господин Матейеш? — защищался Гыцу, поглядывая по сторонам косыми глазами.

— Ну, будет уж, будет, теперь-то я понимаю, куда дело клонится. Вы хотели запугать бедную глупую бабу. А разве мне нужны неприятности? Зачем мне выпускать из дому работника и одной маяться? Он у меня еще пока не жених. Ничего! Я, господин Гыцу, в лепешку расшибусь, а девчонку отважу… А насчет податей скажи господину писарю, что мы заплатили, раз уж ему не спится из-за этого!

С таким ответом и отправился Гыцу по тропинке к примэрии, поглаживая свой острый нос и

поправляя галстук на тонкой шее.

Как-то утром он заявился к тетке Параскиве и застал Мэдэлину среди пестрых хохлатых кур. Она кормила их зерном и разговаривала с ними.

— С добрым утром, дочка, — сказал господин сборщик.

— Здравствуйте, господин Гыцу. Каким ветром вас к нам занесло?

— Никаким не ветром. Проходил мимо и решил зайти посмотреть, дома ли кума Параскива.

— Дома, как же! — И девушка принялась с какими-то напевными переливами в голосе звать: — Тетушка! Тетушка! Поди сюда! Тебе письмецо от господина писаря пришло.

Нос у господина Гыцу побагровел. Удивленный такой смелостью, он оставил галстук возле уха, как вещь ненужную и безжизненную, и смотрел растерянно на тетку Параскиву, которая вышла на крылечко и, подбоченясь, нерешительно поглядывала то на него, то на девушку.

— Тебе, как я вижу, сейчас недосуг, — выдавил наконец сборщик. — Загляну в другой раз. Или в воскресенье, в корчме…

— Изволь, господин Гыцу, — проговорила тетка Параскива, скрестив на груди короткие толстые руки, и посмотрела на Мэдэлину долгим взгля-

дом, как на какую-то диковину.

— Какого лешего ты ему наговорила, девка?

— Ничего я ему не сказала, тетушка Параскива. Разве я что понимаю? Я глупая девчонка.

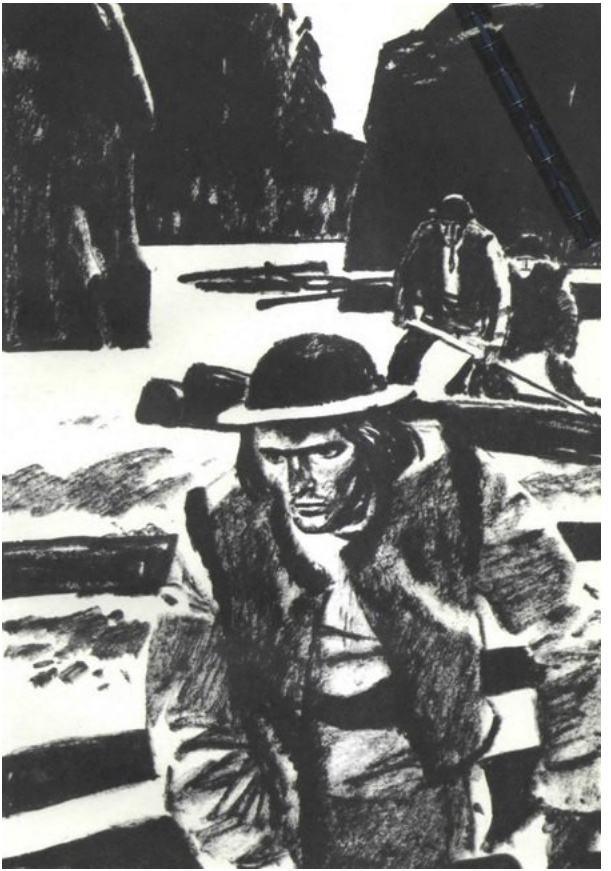
— Что верно, то верно, — закивала старуха, низко опустив голову. — Была бы разумной, поступила бы, как я тебя учу.

Девушка опять принялась кормить кур. На губах у нее играла лукавая улыбка, а глаза затуманивало воспоминание о ночах, проведенных возле омута. Старуха махнула рукой, будто девушка ушла, исчезла и ей не с кем больше разговаривать. Она вернулась к своему ткацкому стану.

Как-то после полудня, когда в тени у входа в кабачок только что уселись Вертишейка и Шагомовцы, прибывшие первыми на обычное место встречи, за их спиной неожиданно вырос Петря Царкэ. Он поздоровался, осмотрел всех своими белесыми глазами и прошел в кабачок.

Лейбука окинул его внимательным взглядом, пропустил в дверь и последовал за ним. Вскоре сидевшие снаружи услышали злой голос Петри: он требовал выпивки. Через некоторое время хозяин появился снова и, как обычно, прислонился к косяку. Краешком глаза он следил за остав-

шимся внутри плотовщиком. Писарь и инженер медленными глотками потягивали вино и любовались высоким зеленоватым небом. Оттолкнув Лейзера локтем, вышел вдруг Петря. Мутными глазами посмотрел он на приятелей и, видимо, приняв какое-то решение, остановился прямо перед ними.



М. Садовяну

— Что такое, Петря? — спросил Сковородня.

— Ничего особенного, господин писарь. У меня к вам изъявление…

— Какое заявление? Говори.

— Да вот, я рабочий человек. С утра и до вечера, значит, вожусь с этим топором да с елями. Другого дела у меня нет. Больше я ничего и знать не знаю. А господин начальник донимает меня.

— Какой начальник?

— А жандармов, Алеку Дешка. Донимает меня, и все тут. Выкладывай ему все, что знаешь да кого подозреваешь. Все по тому же делу с кассиром лесопилки, на которого ночью напал какой-то грабитель.

— Хорошо, но ведь дело уже прекращено. Открыть ничего не удалось.

— Ничего не удалось, господин Матейеш, это вы верно сказали. Вот и не знаю, чего еще нужно господину начальнику, что он ищет? Говорит, будто свидетель нашелся.

Лейбука Лейзер, казалось, дремал на пороге, но глаза его горели живым огнем. Они окидывали понимающим взглядом высокую фигуру Петри Царкэ и всматривались в его дикий облик.

— Я и подумал, господин Матейеш: откуда взяться такому свидетелю? И чего он покоя мне не дает? Сделайте такую милость, господин Матейеш, заступитесь…

Царкэ охмелел от выпитой у стойки водки, но он знал, о чем говорит и чего требует, и в упор глядел на писаря.

— Какой там свидетель! — сказал, улыбаясь, Сковородня. — Ничего, Петря, иди себе и успокойся. Я поговорю с господином Алеку Дешкой, разберемся. Тебе бояться нечего. Раз ты за собой никакой вины не чувствуешь…

— О том-то я и говорю, господин Матейеш. Никакой вины за собой не знаю.

У Лейбуки мелькнула на лице тонкая улыбка.

— Трудно установить правду, — поддакнул инженер, наливая вино в стаканы. — Было уже темно и поблизости ни души.

— На воре была маска, — тихо заметил Лейзер. — Теперь уж никто его не поймает.

— Какой тут еще свидетель? — опять заговорил, смеясь, писарь и пристально посмотрел на хозяина. — Болтать да строить всякие домыслы может любой, даже Лейзер.

— Возможно, только я не свидетель, — торопливо и энергично возразил Лейзер.

Господин Сковородня продолжал:

— Со своими домыслами мог явиться и кто-нибудь вроде Илие Бэдишора, который ищет клады по ночам на берегу Бистрицы.

— Вот где истина! — крикнул, смеясь от души, Шагомовцы. — Ходит и ищет клады! Ему одному известно, что за звери бродят ночью по тропинкам.

Петря Царкэ сверкнул глазами и ухмыльнулся во весь рот.

— Верно, господин Матейеш. Очень даже возможно, что он. Нет, теперь я знаю, что это в самом деле он. У меня с ним старая история из-за одной зазнобы. И он, вражий сын, подкапывается под меня, распускает слухи. Непременно узнаю, он ли это, господин Матейеш.

Плотовщик тряхнул головой, как будто и впрямь удостоверился и остановился на определенном решении. Потом он снова вошел в трактир, таща за собой Лейзера.

Несколько дней спустя, в одно из воскресений, под елями у старика Булбука было большое гулянье. Молодежь водила хороводы. Прочие же выпивали и похваливали вино трактирщика. Были там рабочие со всех окружающих гор, итальянцы с большого шоссе господина Шагомовцы

и немцы — машинисты с лесопилок. Дед Павалаке Булбук, громадный, плечистый, с выпирающим из-под безрукавки животом, с белыми усами на красном лице, прохаживался взад и вперед, расставляя кружки и перешучиваясь с женщинами. Сквозь разноголосый гомон еле пробивались тягучие, замирающие звуки скрипки. Но парням и этого было достаточно: они танцевали, возбужденные и хмельные, с разгоревшимися глазами. Девушки казались более сдержанными и мягко притопывали по земле сапожками с медными подковками.

Петря Царкэ вдруг поднялся с лавки и, слегка пошатываясь, пошел к танцующим. Он остановился на пороге с неопределенной улыбкой на губах, глядя, как прыгают и кружатся пары в танце, называемом кэрэшел. Сначала ему показалось, что все кругом двоится в каком-то тумане, потом он различил Бэдишора и Мэдэлину. А ведь не зря поднялся он с лавки: знал, что девушка здесь, значит, и парень неподалеку. Потому-то и оставил кружку недопитой и вышел наружу, бередя в себе накопившееся буйство. Нужно же было что-то сделать ради дружбы с писарем.

Тут невдалеке показался и сам господин Матейеш Сковородня. Девушки, подталкивая друг

друга локтем, со смехом зашептали одна другой на ухо: «Вертишейка! Вертишейка! Вертишейка!» Потом, поднимаясь на цыпочках, стали искать глазами Мэдэлину. Появление писаря придало решимости Царкэ. Все так же неопределенно улыбаясь, он прошел вперед, задел плечом одну пару, потом другую и, наконец, тяжело опустил руку на плечо Мэдэлины. То был знак, что танцорку приглашает другой парень. Илие и Мэдэлина остановились. Но, увидев перед собой Петрю Царкэ, Бэдишор рванул девушку к себе. Как раз в этот миг он заметил и писаря.

— Чего тебе надо? — крикнул он, меря внезапно вспыхнувшими глазами плотовщика. — Какой ты парень? Не имеешь права приглашать.

Царкэ осклабился.

— А мне вот пришла охота потанцевать с этой девчонкой. Я и музыкантам заплачу, и парней угощу!

Танец расстроился. Один из парней положил руку на скрипку, и песня, задохнувшись, умолкла. Мэдэлина потянула Бэдишора в сторонку.

— Тебя писарь подослал! — заревел Илие, сверкнув взглядом в сторону Сковородни.

Царкэ нагнул голову и кинулся вперед. Несколько девушек испуганно вскрикнули. Мэдэлина

комочком откатилась в сторону, отброшенная левой рукой Илие. Правой же он схватил Царкэ за голову, не давая ему выпрямиться; остальные парни навалились на них, пытаясь разнять.

Сильные руки оттащили Петрю от Илие; он тяжело дышал и только яростно вскидывал головой.

— Ничего, вдовий сынок, мы с тобой встретимся в другом месте!

Важный, щеголяя узкой городской одеждой, господин Матейеш протискивался сквозь возбужденную толпу, собравшуюся на месте происшествия и, притворяясь обиженным, спрашивал:

— Что случилось? Кто смеет говорить обо мне?

Илие Бэдишор смерил его ненавидящим взглядом. Писарь притворился, будто ничего не замечает. Он понимал, что ему здесь делать нечего. Встретившись глазами с Мэдэлиной, он спросил:

— Что такое, Мэдэлина? Что случилось?

— Пришел волк с похмелья расстроить веселье, — скороговоркой ответила Мэдэлина. Остальные девушки, склонив друг к другу головы, приглушенно хихикали.

Господин Матейеш достал из кармана часы с цепочкой, посмотрел на циферблат, потом хлопнул плеткой из бычьих жил по штанине. Он чувство-

вал себя так, будто попал в осиное гнездо.

— Пусть кто-нибудь сходит за Дешкой, — грозно приказал писарь и важно удалился прочь от толпы.

V

Господин начальник произвел небольшой допрос, восстановил порядок и спокойствие, а затем направился медленным шагом по тропинке в гору, позвякивая саблей о камни.

Господин начальник Алеку Дешка был человек небольшого роста, но хорошо сложенный, широколицый, белокурый и безбородый. За сморщенную физиономию, которая как будто всегда смеялась, его прозвали «Туркиня». У господина начальника жандармского поста и впрямь было лицо веселой бабы. Глаза же были и не веселые и не бабьи: серые, со стальным блеском, они буравили души и предметы.

У господина Алеку Дешки был свой взгляд на людей. Он вертел ими, крутил, судил, осуждал и не дал бы за них и ломаного гроша. Были у него свои понятия и о службе, которую он нес. Он прочитал за свою жизнь несколько книг и стремился выполнять свой долг перед властью, как настоящий артист. Когда у него оказывалось «дело», он

никогда не относился к нему небрежно; как искусный часовых дел мастер, начальник разбирал его на части и винтики, вертел, разглядывал со всех сторон и втихомолку делал свои выводы…

Задумчивый, как всегда, Дешка поднимался по дороге в кабачок. Был прохладный вечер, какие выпадают в конце лета, и Лейбука, поеживаясь, закрывал дощатые ставни своего заведения. При виде жандарма Лейзер весело улыбнулся и приветствовал его, подняв руку ко лбу:

— Добрый вечер, господин Алеку. Как хорошо, что вы заглядываете иногда к нам. Жена моя только тогда и спокойна, когда вы показываетесь в этих местах.

— Разве? Так пойди скажи ей, что я пришел, и попроси ее приготовить для меня чашечку турецкого кофе. Я из турок, господин Лейбука, и люблю кофе.

— Я тоже, господин Алеку, хотя и не из турок. Скажу, пусть приготовит две чашечки.

Алеку Дешка уселся на стуле между елей. Лейбука вошел в свой бревенчатый дом, спеша сообщить жене добрую весть, потом вернулся, потирая руки.

— А стаканчик рому, господин Алеку, уживается с кофе?

— Уживается, если составишь мне компанию. Я люблю, чтоб по справедливости, господин Лейбука.

— Знаю, — ответил Лейбука, тихо смеясь. — Я вас хорошо знаю, господин Алеку. Вы редкий человек в этих краях. Что же вас привело сюда, господин Алеку?

— Что меня привело? Да ровно ничего, — ответил жандарм. — Сам пришел. Я службы не боюсь, где бы она ни была. И в пустыне не пропаду, господин Лейбука. Я немножко философ. Если нечего делать, я думаю: зачем создал бог человека? Стараюсь разгадать без свидетелей и без улик, кто же все-таки напал на кассира лесопилки. Взгляну на человека — и могу заранее сказать, в какую ночь он попытается нанести визит господину Лейбуке…

Лейзер подскочил.

— Не говорите так, господин Алеку. Вон идет моя жена. Она всего боится.

Мадам Эстер поздоровалась за руку с господином Алеку и с тяжким стоном опустилась на стул.

— Трудно здесь жить, — сказала она, грустно улыбаясь, — одни заботы и неприятности. Бывают ночи, когда я совсем не сплю.

Жандарм повернулся к Лейзеру и засмеялся:

— Тогда позволь спросить тебя, господин Лейбука, что тебя сюда привело.

Лейзер вздохнул:

— Должен же человек заработать себе на кусок хлеба…

— Это так, — тихим голосом согласился представитель власти.

Они помолчали некоторое время. В селе зажглись огни. На одном из склонов, в горах, замерцал, словно одинокий глаз, костер. Мадам Эстер поежилась, укутала шею платком и ушла в дом.

— Так о чем же вы это говорили, господин Алеку? — робко спросил Лейбука.

— Ага, не забыл, значит. Я говорил, что знаю, кто под маской напал на кассира.

— Может быть, я тоже знаю. Думается мне, что и господину писарю известно.

— Возможно, — неторопливо заговорил жандарм, высекая огонь и прикуривая. — За человеком, который это совершил, я все время слежу на расстоянии. А он и знать не знает. Теперь надумал заглянуть сюда как-нибудь ночью, сорвать ставни и пошарить у тебя за стойкой.

Лейзер молчал.

— Уж я-то людей знаю, — продолжал Алеку Дешка, смеясь. — А его насквозь вижу, все знаю, что он задумал. Придет — а мне уже известно, кто был.

— Господин Алеку, — тихо молвил Лейзер, — лучше бы он не приходил.

— Понятно, лучше бы не приходил. Сорвет ставни, взломает стойку, а ты выскочишь с криком, взлохмаченный, держа свечу в руке. Тут в горячке недолго тебя и топором по голове стукнуть. Конечно, этого нельзя допустить. Уж лучше позову его к себе, расспрошу о других делах, — он и образумится. Набедокурил бы, да не посмеет.

Алеку Дешка курил и, наслаждаясь, пил в темноте свой кофе.

— Хороший кофе, — сказал он. — Такой я только в Яссах пил у тамошних армян.

Лейзер снова вздохнул.

— Живем мы здесь, господин Лейбука, среди злодеев. Они, что дикие лесные звери, кидаются друг на друга, дерутся и клыками и рогами. Сегодня чуть смертоубийство не приключилось.

— Как же это, господин Алеку?

— Петря Царкэ бросился на Бэдишора.

— Выходит, опять он?

— Да. Теперь у него эта забота. Еще одна при-

чина, чтобы отложить визит к тебе. Писарь наш, господин Лейбука, учился в школе, одевается, как и мы, но душа у него все равно дикая. Вот уже целый год он бегает за одной девчонкой и теперь дошел до отчаяния. Я молчу, но все вижу. Теперь пустил в ход Царкэ. А сам потом умоет руки — знать не знал, видеть не видел.

— Как это умоет руки? Из-за чего же ему умывать руки, господин Алеку?

— Так-так. Думаешь, я не знаю, чем все это кончится? Знаю, будто я сам господь бог. Горы высокие. Бистрица глубокая. Будут когда-нибудь оплакивать бабы Илие Бэдишора…

Лейзер вскочил встревоженный.

— Не может быть, не может этого быть, господин Алеку! — воскликнул он, волнуясь. — Вы странный человек и всегда так меня пугаете. Но вы же не плохой человек. Вы можете что-нибудь сделать, помешать.

— Нет, господин Лейбука, ничего я не могу сделать, — тихо ответил Алеку Дешка. — Страсти здешних людей как ветер и вода: никто их не остановит… Вот оно как, господин Лейбука! Не видишь, что вытворяет наш писарь? Посылает весточки матери парня, потом идет к тетке Параскиве, увещевает ее, самой девушке проходу не

дает. А здесь, в кабачке, среди бела дня он разве не рассказывал во весь голос о своей страсти? Недавно он об этом же говорил с Царкэ, не так ли?

— Правда. Говорил.

— Так ты сам разве не видишь, господин Лейбука, к чему все клонится? Если я знаю, кто такой Царкэ, если мне известно, что он замешан в этом деле, и если сегодня я видел, как он, словно волк, хотел сцепиться с Бэдишором, то мне не трудно догадаться и о дальнейшем. Но ничего не поделаешь. Могу я за ним уследить? Нет, не могу. Бог с ним! В этих местах человек, вода, звери — все одинаковы, господин Лейбука. А теперь, если тебе не трудно, принеси стаканчик рому.

— В один момент. Только я не верю, господин Алеку. Вам просто так нравится — зайти вечерком и говорить подобные вещи. Я очень рад, когда вы приходите. Вы — власть, и мне с вами хорошо, хоть и пугаете вы меня до смерти. Не верю я, что случится так, как вы говорите.

— Что ж, и не верь. Ты человек городской. Там, когда убьют человека, все ужасаются и толпятся, как на ярмарке. А здесь, господин Лейбука, дни человека — что трава, как сказано в Псалтыри. Вскорости на Бистрице произойдет неприятное событие, и день тот недалек…

Лейзер, сгорбленный, напуганный, застыл на месте, а бабье лицо Алеку Дешки сморщилось от странного беззвучного смеха.

VI

Туркиня не ошибался: что-то должно было произойти. Из своего жандармского поста возле примэрии, над которым высоко в воздухе полоскался вылинявший от дождей флаг, господин Алеку Дешка с застывшей улыбкой следил за всем, что происходило в долине и на тропинках, все отмечая у себя в уме. Его серые глаза, казалось, видели сквозь стены. Он как будто сам присутствовал на совете Петри Царкэ с господином Матейешем. Вот уже несколько дней подряд, в сумерки, плотовщик с топором под мышкой поднимался своей подпрыгивающей походкой к домику писаря.

Господин Алеку Дешка курил, сидя верхом на стуле и опираясь подбородком на скрещенные на спинке руки. Дым от сигареты, словно живой, полз и извивался в ярком свете осеннего дня. Начальник видел и отца Земля Горит, который неутомимо шагал то по тропинке, то по какой-нибудь извилистой уличке.

Батюшка Костаке тоже взялся за дело, намере-

ваясь устроить его по своему разумению и не в ущерб себе. Прежде всего — он был другом писаря. У ворот дома тетки Ирины батюшка всплескивал руками и все удивлялся:

— Как это ты, тетка Ирина, трудолюбивая, богобоязненная женщина, измученная заботами вдова, можешь терпеть подобное: ведь она совсем вскружила ему голову, обличия человеческого лишила!

— Правда, батюшка Костаке, целую руку… — отвечала вдова. — Подумать только, до чего осатанели люди… Какая-то девчонка, кошка драная, а вот же — вцепилась в моего Илие и не отстает. Была я и у Параскивы, говорила ей… Да ведь она сама не рада, сердешная. Уж как она мне жаловалась: легче, мол, зайцев пасти, чем управляться с эдаким бесом. Как увидела я это, сама подождала девчонку и в упор спрашиваю: «Слушай, девка, когда же ты оставишь моего парня в покое?»

— Вот-вот… А она что?

— Господи, если сказать тебе, батюшка, — сам не поверишь… Ничего не ответила. Только постояла вот так да посмотрела на меня. Потом подошла, опустив голову, и поцеловала мне руку. «Тетушка Ирина, говорит, наступит день — укра-

дет меня Илие и привезет к тебе на печь. Ты не осуждай меня, не притесняй, говорит, ведь сама небось была такой же. А я Илие зла не желаю». Вот, батюшка, какое она мне слово сказала… Что с ней поделаешь? У меня, батюшка, слезы потекли из глаз, истинный бог, так меня за сердце взяло.

— Вижу, вижу… — сказал с некоторой издевкой отец Костаке. — Старину вспомнила… Знаю уж…

— Эх, батюшка, молодость, что с нее возьмешь! — ответила со вздохом вдова.

Топая быстро по дороге, с развевающимися по ветру полами рясы, отец Костаке появлялся на другой уличке, у другого дома. И Алеку Дешка видел, как он, прислонившись к старому еловому столбу, под навесом ворот, долго махал руками перед носом тетки Параскивы, а та, в подоткнутой юбке, в кофте с засученными рукавами, слушала, прижимая ладони к груди.

Видел Алеку Дешка и то, как в сумерках писарь неотрывно ходил за девушкой по пятам, и вся деревня видела это. После пережитого унижения у корчмы Булбука Сковородня потерял над собой всякую власть. Когда закат начинал окрашивать розовым цветом утесы, Мэдэлина возвращалась вместе с другими девушками с гор, гоня перед собой коров. А он уже стоял на дороге, похлопывая

плетью по штанине. Иногда он останавливался, глядя в одну точку и словно прислушиваясь к звону колокольчиков. «Уставился, ровно черт на попа», — шептали, хихикая, девушки и приглушенно смеялись.

Однажды он решительно преградил путь Мэдэлине, грубо прикрикнув на остальных:

— Чего стали? Идите и занимайтесь своим делом! Слушай, Мэдэлина, — обратился он к девушке, глядя на нее пристально и хмуро. — Хочу тебя еще раз спросить: ты это навеки связалась с другим, а на меня и не посмотришь? Ответь мне.

— Господин Матейеш, мне нечего вам ответить, — спокойно молвила девушка.

— Слушай, Мэдэлина, разве ты не видишь, что всему конец? У корчмы он говорил мне дерзкие речи при всем честном народе. И теперь не будет мне покоя, покуда не смету его со своего пути. Дело это решенное и скреплено клятвой.

— Господин Матейеш, а греха вы не боитесь? — сказала девушка, окинув его быстрым взглядом.

— Нет.

— Хорошо, но ведь Илие чист перед вами. Зла он никому не причинил. Ни к чему вы не придеретесь. Что же вы ему можете сделать?

— Мэдэлина, брось его — вот и все, что я хотел

тебе сказать. Не то душа твоя будет в ответе перед господом богом…

Алеку Дешка видел, как Матейеш Сковородня после этого разговора направился большими шагами к трактирчику. «Надо поговорить с Лейзером, — подумал начальник. — Матейеш теперь будет пить, чтобы раззадорить себя и на что-нибудь решиться».

Сохраняя на лице все ту же застывшую в мертвой улыбке маску, жандарм поднялся со стула, закурил другую сигарету и не спеша пошел вниз, позвякивая саблей. По пути он завернул на одну из улиц и остановился у ворот дома тетушки Ирины. Старуха доила корову. Илие вышел из сеней навстречу Алеку Дешке.

— Иди-ка сюда, пройдись со мной немножко, — сказал ему начальник.

Парень внимательно и озабоченно посмотрел на него. Когда он приблизился, Дешка похлопал его левой рукой по плечу:

— Не тревожься, парень, я против тебя ничего не имею. Ты человек хороший. Я только хотел спросить тебя кое о чем.

— Спрашивайте, господин начальник, я отвечу, — быстро проговорил Илие Бэдишор.

— Вот, очень хорошо: вижу, ты, братец, меня

неплохо знаешь. Я не притесняю и взяток не беру. Я человек справедливый, Илие, и, попади я в монашескую братию, мог бы сделаться настоятелем, а то и митрополитом. Смотрю я, братец, вокруг, все вижу, все понимаю. Мне давно известно, что ты водишься с Мэдэлиной. Только в сердечные дела молодежи я не вмешиваюсь… На то бог дал людям любовь, чтобы они забывали о старости и смерти. Но знаешь ли ты, Илие, что Матейеш Сковородня видеть тебя не может?

— Знаю, господин шеф, да не боюсь я его.

— Хорошо, хорошо. Ясное дело, что не боишься. А вот появится у него товарищ, и перевес будет на его стороне. Кто-нибудь, скажем, может прыгнуть на тебя в темноте. Камень может на тебя с горы свалиться. Будь поосторожнее, парень. Так я считаю: ты должен остерегаться…

Странно ухмыляясь, Туркиня снова похлопал парня по плечу, потом, покачиваясь, медленно побрел к трактирчику. Илие постоял еще некоторое время, вслушиваясь в удаляющийся и затихающий лязг его сабли.

Очнувшись от дум, парень направился было к Бистрице. Потом, вспомнив слова Дешки, улыбнулся и покачал головой. Широкими шагами он пошел к дому, крадучись пробрался в сени и по-

искал в известном ему местечке чекан. На ходу он накинул на себя тулупчик и уже в самых воротах ответил матери, которая спрашивала из дому, кто там. В голубоватых сумерках по наклонной тропинке он спустился к омуту, где ждала его Мэдэлина…

VII

Три дня спустя, в ночь под малую пречистую, долину Бистрицы покрыл иней, похожий на мелкое толченое стекло. Узкий серп ущербного месяца освещал тускло-желтым заревым светом склоны гор, ивы, камни, нагроможденные потоками. Утренняя звезда, появившись из-за серой полосы облаков, взошла над горами.

Спавший тяжелым сном в своем домике господин Матейеш Сковородня внезапно проснулся, услыхав громкий стук в дверь и мужской голос.

— Это я, господин писарь, — кричал снаружи Петря Царкэ. — Отоприте.

Сковородня еще находился во власти сновидений. Лунный свет проникал в окна, словно дымка. Утренняя звезда показалась писарю живым подмаргивающим глазом с лучистыми ресницами.

— Откройте, господин Матейеш!

— Что такое? Чего ты орешь? — спросил писарь,

отодвигая задвижку.

Плотовщик, смеясь, вошел в комнату, и на Сковородню пахнуло крепким запахом табака и водки.

Что с тобой, человече? Ты прямо из корчмы?

— Знамо дело. От Булбука. Но у меня большие новости, господин Матейеш. Одевайтесь и немедля пойдемте. Теперь уж ему не вывернуться, господин Матейеш. Я сколько времени слежу за ним. Теперь-то он попался мне в лапы.

— Ты о Бэдишоре говоришь?

— О ком же еще? О бабушке, что ли? Вечор приходит в корчму представитель фирмы, какой-то еврей, даже имени его не знаю. Ему, видишь ли, нужен плотовщик, чтобы обязательно сегодня, в день пресвятой богородицы, сплавить двадцать больших мачтовиков из устья Бараза, — завтра он хочет отправить их дальше, в Пьятру. У них там свои дела, отсрочки не терпят. Работают по часам. Ну а люди наши, конечно, отказались. Завтра, то бишь сегодня, праздник, день отдыха. В корчму надо заглянуть — христиане как-никак… Что до меня, то я и не подумал ехать.

— Погоди, Петря, погоди, — перебил его писарь. — При чем тут все-таки Бэдишор?

— Вижу, не хотите вы меня слушать, господин

Матейеш… Вот как было. Представитель ушел. Мы, значит, остались, выпили еще по рюмочке, поговорили о том о сем… Стало уже поздно. И вдруг заходит один из наших, Тимофте, и говорит, что нашелся человек, готовый в праздник гнать плоты. Кто бы вы подумали? Илие Бэдишор. Он жаднее всех на деньги. Ни корчма, ни веселье ему не нужны. Дадут хорошую цену — он и поведет плот. Тимофте говорит, что он уже пошел на реку.

Заразившись воодушевлением плотовщика, писарь засуетился и стал одеваться.

— Самая теперь пора, господин Матейеш, — продолжал между тем Царкэ, наклоняясь к его лицу. — День праздничный: в горах и на Бистрице никто не работает. Отправляется он один. Если разобьется о скалы, значит, господь наказал его за то, что трудится в праздник.

Губы Царкэ, освещенные луной, растянулись в черном оскале. Он слегка покачивался и постукивал пальцами по лбу, восхищаясь собственным планом.

— Пошли, господин Матейеш! Не мешкайте! Возьмем коней… Свершится наказанье божье, а мы уже здесь… Потолкуем с людьми, заглянем в корчму и будем вместе со всеми удивляться,

когда станет известно, что сынок отправился искать папашу на дно реки.

Сковородня уже не владел собой. Словно в лихорадке искал разбросанную по комнате одежду. Ненависть, скопившаяся за многие месяцы, усиленная отчаянием и пережитым унижением последних дней, кипела в его душе, туманя рассудок. Он кинулся к Царкэ, схватил его за горло и глухо застонал:

— Замолчи! Замолчи! Еще кто-нибудь услышит. Никто не видел тебя, когда ты сюда заходил?

— Никто, господин Матейеш, будь покоен. Я рыжий, из лисиц…

Развеселившись от собственной шутки, Петря Царкэ похлопал рукой по сумке, висевшей у него на боку.

— Захватил я с собой немного бодрящего: флягу со спиртом. И так мне весело, господин Матейеш, будто на охоту собираюсь.

Писарь рывком натянул на себя пальто. Затем толкнул Царкэ плечом.

— Ну, чего стоишь? Пошли.

— Идем. Как не идти! А коней найдем?

— Найдем. Под самым лесом. Другого, думаю, ничего с собой брать не надо?

— Да к чему нам, господин Матейеш? Избави

бог! Мы и пальцем его не тронем. Бистрица сама с ним справится!

— Правильно, — пробормотал писарь. Он почувствовал, что его охватывает холодная дрожь. Съежившись, он вышел на улицу, дважды повернул ключ в двери и, глубоко вздохнув, будто сбросив с плеч огромную тяжесть, быстро зашагал в гору. Теперь он знал: к устью Бараза он уже не может не пойти; он чувствовал: в этот день непременно произойдет что-то страшное, чему он уже не в силах помешать. Зато потом придет, может быть, успокоение и та блаженная минута, которую он так страстно желал.

Когда писарь с Петрей на неоседланных конях взметнулись на гребень горы Вэтуй, чтобы ринуться оттуда в ущелье Бараза, сквозь туман проглянуло солнце. Великое молчание царило над лесами и окаменелыми волнами гор. Слева из ущелья, где находилась пустынь, донесся тихий, ласковый звон чугунного била, потом с песенным перезвоном некоторое время благовестили колокола. Оба сообщника ненадолго остановились, глядя вниз, на плес, над которым плыли обрывки светлого тумана…

По другой стороне, скалистой тропинкой, завернувшись в тулупчик, ехала верхом по-мужски

горянка. Несколько лошаденок, навьюченных мешками с кукурузной мукой, понуро плелись сзади, привязанные одна к хвосту другой, — видимо, из какого-нибудь равнинного городка в горное селенье.

Господин Матейеш и Петря Царкэ перевалили через гребень и стали спускаться в долину Бараза. В лесистом овраге они спешились. До устья реки оставалось немного. Место было глухое, и оба надеялись, что на реке не окажется никого, кроме них и Бэдишора. Плотовщик вынул флягу и подал ее господину писарю. Тот было отстранил ее тыльной стороной руки, но, передумав, схватил, поднес к губам и стал пить большими глотками. Царкэ смеялся, протягивая руку, похожую на звериную лапу.

— Добро! Только и мне оставь, господин Матейеш. Это мое лекарство.

Господин Матейеш нашел шутку уместной и, тоже смеясь, вернул флягу, метнув на Царкэ горящий взгляд.

Они решительно прошли между еловыми бревнами и затаились, внимательно вглядываясь в дощатое здание лесопилки. Там было тихо, не чувствовалось никакого движения. Справа Бараз, укрощенный плотинами, переходил в широкий

спокойный затон, на поверхности которого покачивались белые стволы очищенных от коры елей: кряжи и мачтовики. Воды притока, задержанные в этом месте и успокоенные, ждали того часа, когда они вольются в оскудевшую от засухи Бистрицу и стремительно помчат плоты вниз к равнине. Здесь тоже было тихо и пустынно. Под зеленоватой блестящей поверхностью затона изредка, как молнии, сверкали похожие на серебристые иглы форели.

— Нет его здесь, — сказал, нахмурив брови, Сковородня. — Не приходил еще, что ли?

— Нет, приходил, — ответил Царкэ, шагая между сваями запруды, — только мы чуток опоздали. Плот должен был находиться на этой стороне, на Бистрице. А теперь его нет. Значит, он недавно отвязал его и уплыл.

Писарь прихватил зубами кончик усов и взглянул на Царкэ злыми глазами.

— Что же мы будем делать?

— Гм, что делать? На всякую хворь свое зелье имеется, господин Матейеш. Со мной не пропадешь. Я уж дорогой думал, что мы можем его не застать, но в затоне, я знаю, стоят легкие плоты, приплывшие по речке и еще не разобранные. Вот они, можете сами посмотреть. Спустим воду,

выйдем с плотами на Бистрицу, и волны помчат нас вдогонку за ним, как на рысаках. Сзади мы на него и нагрянем…

Недобрый огонек сверкнул в глазах Сковородни. Он обернулся к плотовщику, схватил его за плечо и, толкнув вперед, произнес одно только слово:

— Пошли!

Довольно ухмыляясь, Петря Царкэ вытащил из-под безрукавки топор. Оба подкрались к запруде и при помощи блоков подняли на цепях творило. По спокойной зеленоватой поверхности затона пробежала еле заметная дрожь, и воды его устремились к Бистрице. С воем урагана хлынула первая волна. Приятели быстро вскочили на легкий плот, пронеслись мимо свайных опор и подпрыгнули в водовороте большого речного русла. По гребням волн они устремились вниз, будто впереди, еле касаясь вод Бистрицы, мчались резвые кони.

— Держись, господин Матейеш! Сейчас мы его догоним! — крикнул Царкэ, стоявший у переднего кормила.

Так они плыли некоторое время с большой скоростью и через каких-нибудь четверть часа в самом деле увидели плот Бэдишора, завора-

чивающий за скалы. Царкэ поднял голову. На прибрежных тропинках ни души. Подгоняемые спущенной водой, они, как пьяные, неслись в кипенье волн. Матейеш Сковородня стоял, согнувшись, и крепко держался за ручку топора, воткнутого в плот. Он пристально смотрел вперед. Глаза у него были дикие, безумные.

— Догоним его возле омута! — крикнул ему в ухо Петря Царкэ.

Они действительно нагнали парня у Вэлинашева омута, налетев на него из-за поворота. Бэдишор повернул голову и вдруг увидел несущийся прямо на него плот. Нагнувшись, он с быстротой молнии схватил топор. Его противники приближались, не замечая, что следом за ними, подпрыгивая на волнах, несутся стволы елей, вырвавшиеся на свободу из водяной тюрьмы. Словно состязаясь, бревна наскакивали друг на друга, сдвигались и расходились. И когда Сковородня с Петрей протаранили плот Илие Бэдишора, стволы эти, сталкиваясь и громоздясь, налетели внезапно на них самих. В одно мгновение их плот распался на множество бревен, которые, словно причудливые пловцы, ныряли и снова выскакивали на поверхность реки.

Матейеша Сковородню ударило концом бревна

и швырнуло вперед, он сразу провалился между плотами и больше не появлялся. Так вот какой конец был ему уготован после стольких стараний! Вот что предвещала ему утренняя звезда!

Взмахивая руками, как крыльями, двое других еще сохраняли равновесие на развязавшихся бревнах. Затем Илие Бэдишор сбросил с себя тулупчик и с топором в руках кинулся в воду.

Противники находились в этот миг возле самого омута, в узком ущелье между крутых известковых скал. Издавна это место считалось опасным, и плотогоны его побаивались. Поэтому у берега, на котором стояло село, с давних пор они выбили в скале у самой поверхности воды углубление, куда потерпевшие могли забраться в минуту опасности. От углубления шли вверх ступеньки, по которым нетрудно было выбраться на берег.

Туда-то и направился вплавь Илие. Несколько бревен, толкаясь, шли с приглушенным плеском прямо на него. Он нырнул в глубину, не выпуская из рук топора. Только шляпа осталась на волнах и весело подпрыгивала перед бревнами. Отталкиваясь ногами и загребая воду одной рукой, парень вслепую прошел под ними и, испуганно отфыркиваясь, выплыл у самой пещеры плотовщиков.

Тяжело дыша, он зацепился топором за выступ скалы и медленно выбрался из воды.

Оглянувшись, он увидел, что Царкэ, сильно загребая руками, плывет к тому же месту спасения. Лоб у него был в крови, глаза выпучены, рот широко открыт.

Бэдишор, словно ужаленный, вскочил, весь напрягся и угрожающе поднял топор.

Петря Царкэ в отчаянии завопил, протянув к нему руку:

— Не бей, Илие. Не бей меня, братец! Пожалей!

Бэдишор, все еще во власти смертельного ужаса, постоял с минуту в нерешительности, будто не понимая, о чем идет речь. Потом, переложив топор в левую руку, рванул с себя ремень и кинул один конец Царкэ. Тот выбрался из воды и упал замертво, привалившись виском к скале. Затем взглянул на Бэдишора и чуть слышно выдохнул:

— Прости меня, Илие. Я зла против тебя не держу больше.

Илие почувствовал, как к горлу подступает комок. Он проговорил взволнованно:

— У меня, баде Петря, тоже словно всю душу перевернуло.

И тут же стал кричать и махать показавшимся на берегу людям.

VIII

К вечеру Бистрица выбросила ниже омута труп господина Матейеша. Когда это стало известно в Поноаре, на месте происшествия появились господин староста Дэскэлеску, отец Земля Горит в развевающейся по ветру рясе и господин Шагомовцы с трубкой в левом углу рта. Пришел и господин Алеку Дешка со своей застывшей, как маска, улыбкой. И все же он казался хмурым, недовольным, словно был обижен тем, что в своих тайных расчетах забыл о хитрости волн и причудливых пловцах. Лейбука Лейзер, побледневший, запыхавшийся, смотрел на начальника с нескрываемым восхищением. Остальные жители деревни спокойно созерцали своего погибшего ученого писаря. Женщины, прячась друг за друга, вытягивали шеи и тяжко вздыхали, прикрывая рот ладонью.

Матейеш Сковородня пристально смотрел остекленевшими, застывшими глазами в осеннее небо, из его рта стекали на песок две тоненькие струйки крови.

Отец Костаке произнес печальные слова о бренности жизни, после чего сельские власти, отвернувшись от покойника, стали совещаться

об устройстве на следующий же день торжественных и пышных похорон в церквушке, на холме. Особенную горячность проявлял тут батюшка, доказывая, что иначе никак нельзя. Один Алеку Дешка не участвовал в разговоре, погрузившись в размышления, стоит или не стоит начинать запутанные, бесконечные расследования.

— Нет, не стоит, — произнес он вслух, качнув головой, и вздрогнул, оглядываясь кругом.

— Нет, стоит, господин Алеку, и даже обязательно нужно! — воскликнул, обернувшись к нему, священник.

— Нельзя забывать о долге перед усопшим, — серьезно сказал итальянец, попыхивая трубкой и грустно закрывая глаза.

Лейзер поглядывал на них со стороны живым, острым взглядом и молчал.

На второй день состоялись похороны, и на холме у церквушки собралось все село. Небо было хмурое, горный ветер гнал серые тучи, раздирая их в клочья о скалистые вершины. С Бистрицы медленно ползли в гору клубы тумана, напоминавшие стадо волов.

Бэдишор, побледневший, с ввалившимися глазами, пробрался сквозь толпу, внимавшую голосу священника, пенью псалмов и звону колоколов.

Над опущенными головами людей, сквозь сырой туман, занесенный ветром из ущелья, дрожали голоса, поющие «Вечную память». Комья земли загрохотали по белому гробу. И в этот миг бучумы двух горных чабанов издали протяжный, раздирающий сердце призыв; он долго дрожал над долиной и замер в невидимой дали.

Женщины в толпе начали всхлипывать. Илие Бэдишор усталыми глазами взглянул на них и среди юбок и платков заметил Мэдэлину, которая вздыхала, подперев рукой щеку. Он не видел ее уже два дня и смотрел на нее так, словно прошли целые годы. Белолицая и красивая, она была отрадой его ночей в пору, когда душа еще не знала смертельного трепета. Он смотрел на нее сквозь туман, и ему казалось, что она отдаляется от него, меж тем как бучумы все пели свою надгробную песнь, как в древние времена, когда в горах не было ни господ, ни лесопилок.

На постоялом дворе Анкуцы
Перевод Ю. Кожевникова {15}

Господарева кобыла

Однажды золотой осенью довелось наслушаться мне рассказов на постоялом дворе Анкуцы. Было это в стародавние времена, давным-давно, в тот год, когда на Илью-пророка шли проливные дожди и люди говорили, будто в тучах над вздувшейся Молдовой видели черного змия. И какие-то невиданные до той поры птицы, подхваченные вихрем, летели на восток, а дед Леонте, разыскивая в своей звездочетной книге знаки царя Ираклия и толкуя их, говорил, что птицы эти с белыми, как снег, перьями в смятении снялись с островов на краю света и предвещают войну между царями и изобилье винограда.

Потом и вправду Белый царь поднял своих

{15} Комментарии: 15

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ АНКУЦЫ (HANUL ANCUTEI)

Постоялый двор Анкуцы действительно существовавшее подворье на большом торговом тракте, пересекавшем Молдову с севера на юг. Ныне восстановлен как исторический памятник. Цикл рассказов впервые был опубликован в 1928 г. На русском языке впервые напечатан в сборнике: Михаил Садовяну. Избранные произведения. ГИХЛ, 1957.

солдат против басурман, а виноградникам в Цара-де-Жос{16}, как звезды и предсказывали, даровал бог такой урожай, что виноградарям некуда было девать муст{17}. Потянулись в ту пору из наших краев возчики, отвозя вино в горы, и вот тогда-то и было на постоялом дворе Анкуцы время веселья и рассказов.

Обоз шел за обозом. Музыканты играли без передышки. Когда одни изнемогали от усталости и вина, из каких-то закутков постоялого двора поднимались на их место другие.

А кружек столько проезжие перебили, что целых два года после этого женщины, проходившие мимо на базар в Роман, осеняли себя крестным знамением.

У костров же люди опытные и умелые жарили баранов и телят или пекли пескарей и усачей из Молдовы. А молодая Анкуца, краснощекая, с такими же густыми бровями, такая же лукавая, как и ее мать, бегала, словно бесенок, туда и сюда, подоткнув юбку и засучив рукава, оделяя всех вином и едой, улыбкой и добрым словом.

Нужно вам сказать, что постоялый двор Анкуцы

{16} Комментарии: 16

Цара-де-Жос — равнинные, южные районы старой Молдовы.

{17} Комментарии: 17

Муст — молодое, неперебродившее вино *(рум.)*.

был не просто постоялым двором, а крепостью. Вокруг него стояли вот этакие крепкие стены с железными воротами, каких больше в своей жизни я не видывал. За ними могли укрыться люди, скот и повозки, и дела им не было ни до каких разбойников…

Но в то время, о котором идет речь, в стране были мир и согласие меж людьми. Ворота стояли открытыми, как на господаревом дворе. И сквозь них в тихие осенние дни была видна долина Молдовы насколько глаз хватал и горные туманы над сосновыми лесами до самого Чахлэу и Халэуки{18}. А когда солнце уходило в подземный мир и все вдали тускнело и погружалось в таинственную мглу, костры освещали каменные стены, черные пасти дверей и окна, забранные решетками. Музыканты на время замолкали, и начинались рассказы.

В те дни изобилья и веселья сиднем сидел на постоялом дворе один пришлый рэзеш{19}, который мне очень полюбился. Он поднимал кружку за каждого, задумчиво слушал песни музыкантов и даже с дедом Леонте состязался в толковании

{18} Комментарии: 18

Чахлэу, Халэукэ — горные вершины в Карпатах.

{19} Комментарии: 19

Рэзеш — мелкий землевладелец-крестьянин *(рум.).*

всяческих дел земных… Был он высок и сед, с худым лицом, глубоко изборожденным морщинами. Вокруг его подстриженных усов и в уголках маленьких глаз кожа собиралась в бесчисленные складочки и морщинки. Взгляд его был остер и мрачен, а лицо с короткими усами как будто печально улыбалось.

Звали его конюший Ионицэ. У конюшего в поясе, под одеждой серого грубого сукна, был плотно набитый кошель. Приехал же он верхом на такой кляче, что удивления достойно. Это была та лошадь, о которой в сказке рассказывается — только до того, как проглотила она блюдо горящих углей. Кожа да кости! Сама гнедая, три ноги белые, она неподвижно стояла за стеной под высоким седлом, а возле ее морды лежала охапка соломы…

— Я человек проезжий, — говорил с кружкой в руке конюший Ионицэ, — сяду в седло и поеду по своим делам… Моя гнедая всегда наготове, всегда под седлом… А такой лошади, как у меня, ни у кого нет… Сяду в седло, сдвину шапку на ухо да и ускачу, и все мне нипочем…

Однако он не уезжал, а сидел с нами.

— И правда, — сказал как-то ему дед Леонте, — такой лошади нигде больше не найдешь, хоть

девять лет ходи по всем земным царствам. Одна шкура чего стоит! Как подумаешь, даже страшно делается…

— Э нет, друг Леонте! — воскликнул рэзеш, теребя подстриженные усы. — Такая жилистая и сильная лошадь не знает ни голода, ни усталости. На корм она смотрит вполглаза, а оставишь ее ненапоенной — тоже не обижается. И седло словно к ней приросло. Это лошадь благородных кровей. Она у меня от такой же белоногой кобылы, которой я гордился в дни моей молодости и на которую взирал с большим изумлением даже его высочество господарь Михалаке Стурдза{20}.

— Как так взирал с изумлением, почтенный Ионицэ? Она была такая же тощая?

— Само собой разумеется. Это целая история, которую я могу вам рассказать, если будете слушать…

— Как не слушать, почтенный Ионицэ! А уж особенно историю из времен господаря Михая Стурдзы.

— Особенно из времен моей молодости, — серьезно ответил рэзеш. — В те времена бывал я в этих же местах, сиживал возле костров и возов с

{20} Комментарии: 20

Михай (Михалаке) Стурдза — господарь, правивший Молдовой с 1834 по 1849 г.

мустом, вместе с другими людьми, которые уже давно в прах обратились теперь, так что из них, верно, кружек да кувшинов понаделали. А вокруг нас хлопотала другая Анкуца, мать вот этой, — она тоже теперь отправилась в лучший мир, хоть и не такой веселый, как здешний. И вот однажды стою я словно в воду опущенный в воротах постоялого двора, держу в левой руке кружку, а в правой повод… А та, другая, Анкуца стояла, как и эта, на том же месте, прислонившись к дверному косяку, и слушала, что я говорю… Что я тогда говорил — не знаю, слова те улетели осенними листьями.

Конюший Ионицэ невесело усмехнулся в жесткие подстриженные усы, в то время как мы все, мужики и возчики из Цараде-Сус{21}, расселись вокруг него на чурбаках и на тележных дышлах, подняв головы и вытаращив глаза. Молодая Анкуца стояла у двери, прислонясь к косяку; косые лучи осеннего солнца освещали ее, позолотив половину лица. Неподалеку в долине блестела среди прибрежных рощ Молдова, а вдали виднелись горы — окаменевшие волны, подернутые голубой мглой.

{21} Комментарии: 21
Цара-де-Сус — горные районы северной Молдовы.

Вдруг тощая лошадь рэзеша, стоявшая у стены постоялого двора, почувствовав вокруг тишину, тонко заржала и оскалилась на нас, словно демон какой. Анкуца, испуганная и удивленная, взглянула на нее из-под густых бровей.

— Ага! — сказал конюший, — вот так скалила зубы и смеялась и старая моя кобыла… Теперь сама она, может, обратилась в волчий глаз или зуб — кто знает, — а смех ее все еще жив, и другая Анкуца его пугается.

Как я вам уже сказал, сударь мои, стоял я здесь, на этом самом месте, одной ногой в стремени, уже ехать готовый. И вдруг слышу, захлопал бич и загрохотали колеса рессорной повозки, а когда я выпрямился и повернул голову, вижу — мчатся по дороге дрожки, с четверкой добрых коней в упряжке… Подъезжают и останавливаются у постоялого двора, как положено. И вылезает из них боярин, чтобы полюбоваться глазами Анкуцы, таков уж был обычай.

Только подошел он, выпил я в его честь кружку вина и пожелал здоровья. Он остановился и посмотрел, улыбаясь, на меня, и на кобылу, и на людей, что стояли вокруг, и приветствие понравилось ему. Был боярин невелик ростом, с рыжей округлой бородой, а на шее висела у него

красивая золотая цепь…

— Добрые люди, — сказал тот боярин, — очень я рад видеть веселье и согласие в стране молдовской.

— И мы рады, — говорю я, — слышать такие речи. Они дороже самого лучшего вина.

Тогда боярин снова улыбнулся и спросил меня, откуда я родом и куда путь держу.

— Высокочтимый боярин, — отвечаю, — я по рожденью своему рэзеш из Дрэгэнешть, из края Сучавы. Но нет у меня пристанища, а у врагов моих длинные и острые клыки. Тяжба у меня, высокочтимый боярин, которой все конца нет. Унаследовал я ее от отца своего, псаломщика Ионы, и очень боюсь, что перейдет она от меня в наследство и к детям моим, если сподобит меня бог иметь их.

— Это как же так? — спросил с удивлением боярин.

— Да вот так, как говорю. Ведь наша судебная тяжба началась, высокочтимый барин, еще до господаря Калимаха. Уж сколько мы Дивану{22} челом били, сколько ходоков посылали, сколько ждали, пока все расследуют и измерят и свиде-

---

{22} Комментарии: 22

Диван — высший государственный совет при господарях в Молдове.

телей под присягой допросят, и уже многие из нашего рода умерли, судясь, и народились другие, чтобы тоже судиться, а вот даже в мои дни никак правды не добьешься… А недруг мой, с которым я тягаюсь, запахал плугом от моей родительской земли еще две сажени да пять пядей возле пчельника Велий. Тогда-то предъявили мы новую жалобу властям и снова не нашли милости, потому что противник мой, да не прогневается твоя честь, большой боярский ворон… Увидел я такие-то дела, разобрал я снова сумки со старыми бумагами за древними печатями, перебрал их, еще раз перечитал по складам и положил те, что, по моему разумению, подтверждают права мои, сюда, за пояс, сел на свою гнедую и теперь не успокоюсь, пока до самого господаря не доеду. Пусть он за мою правду заступится.

— Как же это возможно? — снова удивился боярин, поглаживая бороду и пропуская между пальцами золотую цепь. — Так ты к господарю едешь?

— Еду! А если и господарь не заступится за правду…

Боярин рассмеялся:

— Ну, а если и господарь не заступится?..

Тут конюший Ионицэ понизил голос, но моло-

дая Анкуца, как некогда та, другая, отвернувщись, навострила уши и услышала, что должно было произойти, если даже господарь не заступится за правду рэзеша:

— Если и господарь не заступится за мою правду, тогда пусть его высочество пожалует и поцелует кобылу под хвост!..

Когда конюший без всяких обиняков, так, как говорят люди у нас в Цара-де-Сус, привел эти крепкие слова, Анкуца поджала губы и притворилась, что внимательно смотрит вдоль дороги.

— Как сказал я это, — продолжал рэзеш, — та, другая, Анкуца быстро прикрыла рот ладонью и притворилась, что глядит в сторону вдоль дороги. А боярин как захохочет. Потом успокоился, поглаживая бороду и поигрывая золотой цепочкой.

— И когда ты думаешь предстать перед господарем? — спросил он.

— Вот только, высокочтимый боярин, осушу в твою честь эту кружку вина, а потом сяду в седло, как Александр Македонский, и остановлюсь только в Яссах. А если ваша милость хочет отведать молодого вина из Одобешть, тогда Анкуца принесет красного муста в новой кружке, и мы будем весьма рады той чести, которую ты нам окажешь.

Боярин обернулся, улыбаясь той, прежней, Анкуце, которая, как и эта, была густоброва и лукава, и потребовал новую глиняную кружку с красным мустом из Цара-де-Жос. Я гордо попросил разрешенья заплатить за эту кружку и бросил четыре монетки в подол Анкуцы…

После этого боярин сел в свою коляску на рессорах и укатил.

А я, усевшись в седло, не слезал, как и обещался, до самого города Ясс, где остановился на постоялом дворе, возле церкви Лозонски, через дорогу от господарева двора.

На другой день около полудня, умывшись и причесавшись, предстал я с бьющимся сердцем перед дворцовыми воротами.

Часовой направил прямо на меня свой штык, а как сказал я, какие у меня горести, крикнул он в караулку, выскочил оттуда старый солдат и сразу же повел меня в какую-то каморку внутри двора, где навстречу мне вышел молоденький тоненький офицерик, весь в позументах и в золоте…

— Что тебе нужно, человече?

— Вот так и так, я конюший Ионицэ, рэзеш из Дрэгэнешть, и приехал к господарю, истомившись по правде, словно олень по ключевой воде.

— Очень хорошо, — ответил молоденький офи-

церик. — Господарь может сейчас же выслушать твою жалобу. Оставь здесь шляпу и входи в эту дверцу. Там в большом зале увидишь господаря и расскажешь ему про свое горе.

Кровь бросилась тогда мне в голову, и в глазах затуманилось. Но я стиснул зубы и овладел собою. Офицер открыл маленькую дверцу, и я, наклонив голову, вышел на свет и сразу же увидел господаревы сафьяновые сапоги и пал на колени. Надеялся я, что у нового молодого господаря найду утешение в моих бедах.

— Ваше высочество, — закричал я отважно, — я пришел искать у вас правды!

Господарь ответил мне:

— Встань!

Услышав этот голос, я сразу поднял взор и узнал боярина с постоялого двора.

Тут я понял, что нужно мне закрыть глаза и притвориться испуганным. Я еще больше склонил голову, протянул руку, взял полу его одежды и поднес к губам.

— Встань, — повторил господарь, — и предъяви свои бумаги!

Когда я поднялся на ноги, то заметил, что глаза боярина сощурились от смеха, как и на постоялом дворе, когда он брал кружку с мустом из

обнаженных рук Анкуцы. Смело вытащил я бумаги из кожаной сумки, протянул ему и начал говорить; и рассказал я ему обо всех напастях, что разорили меня, и обо всей горечи, что и сам скопил я в своем сердце и от предков унаследовал. А господарь прочитал бумаги, поднес к своим глазам восковые печати, просветлел и сказал немножко в нос:

— Хорошо, рэзеш, я заступлюсь за твою правду. Поедет с тобой мой человек со строгим наказом навести порядок в Дрэгэнешть.

Услышал я это и опять бросился на колени, а господарь снова приказал мне встать. Потом он хлопнул меня по плечу, а глаза его сощурились от смеха:

— Ну а если бы я не заступился, тогда что?

— Что ж, ваше высочество, — ответил я, смеясь, — я своих слов обратно не беру. Кобыла вон там, через дорогу стоит!

И уж так рассмеялся господарь на мой ответ, что снова ударил меня по плечу и вспомнил про кружку с красным вином, за которую заплатил я четыре монетки, и, смеясь, послал за приказным, который должен был поехать со мной, и велел ему тут же на месте, у него на глазах, написать строгий приказ; а когда я вскочил в седло у посто-

ялого двора возле церкви Лозонски и пустился в обратный путь, он глядел, улыбаясь, в открытое окно и поглаживал бороду…

Вот почему вы должны смотреть как на редкость на мою гнедую и белоногую лошадь: ведь это потомок господаревой кобылы. И когда моя лошадь оскалит зубы и смеется, то словно бы вспоминает о других временах и о днях моей молодости. Из всего этого вы можете увидеть, что я за человек! А теперь возьмем еще по кружке вина, и я начну другую историю, которую давно хочу вам рассказать…

Хараламбие

Держа кружку в левой руке, конюший Ионицэ двумя пальцами правой поглаживал подстриженные усы. Он откашлялся и приготовился начать еще более увлекательную, еще более удивительную историю, чем про господареву кобылу. Тут-то, радушно улыбаясь, поднялся со своего места монах, тот, что с гор пришел, и заговорил, размахивая кружкой перед своей бородой. До этого времени он все молчал — занят был кружкой, а нам была видна только его борода. Теперь мы с удивлением обернулись к нему.

— Достойные христиане и хозяева, — начал его преподобие, — и ты, честной конюший Ионицэ из Дрэгэнешть! Простите меня, что я до сих пор молчал. Я следовал философскому учению и пытался в молчании оценить доброе вино. Там, наверху, под скалами Чахлэу, мы только вздыхаем о сладостной жизни долин. От черники и молока не развеселишься, а медведи не зовут на крестины, потому что сами они еще не приняли святого крещения. Так вот я, направляясь по повелению нашего игумена в святую митрополию и по своему рвению желая помолиться в церкви великомученика Хараламбие, остановился отдохнуть среди вас. А после того как поставил я лошадь на привязь, честная хозяйка выбрала для меня новую кружку, побольше и покрасивее, и очень возрадовалась моя душа среди братского содружества и веселия. Слушал я музыкантов и не затыкал ушей моих. Ибо и мои прегрешения простит тот, кто всемилостив. Поэтому я подумал, что надлежит мне подняться и узнать вас всех по поступкам вашим и речам. И слушал я с великим удивлением, что говорили вы, о чем рассказывали. А сначала хочу я выпить за почтенного конюшего Ионицэ и за его кобылу…

Проговорив это, монах поднял кружку, отхлеб-

нул из нее, закрыв глаза, а когда опустил кружку, конюший чокнулся с ним.

— Спасибо, отец, целую руку, — сказал рэзеш. — По словам видно, что ты наш брат. Как зовут твое преподобие?

— Имя мое во Христе — Герман, почтенный конюший, — ответил монах. — С гор я спускаюсь первый раз в моей жизни и путь держу в город Ясы. А когда я буду возвращаться назад в наш скит, то помолюсь и за твою душу. Только прежде, чем начнешь ты свою историю сказывать, дозволь выпить каплю и за деда Леонте, премудрого старца, который сидит по правую руку от меня. Вижу я, что знает он приметы времени, круговорот луны и звезд и может читать по небесным знакам. Он человек ученый и хранит память о стародавних временах. Хотя и я немолод, но далеко мне до его знания, и потому пью за его здоровье.

Встав, дед Леонте чокнулся кружкой, поблагодарил и поцеловал руку отца Германа.

— Осталось еще и для других, — проговорил снова монах. — Надлежит отведать плодов земли и солнца и за деда Захарию, колодезника. Вода, которую с большим мастерством извлекает он на свет, не так вкусна, как вино, но в ней больше святости, и она приятна богу. А мы, люди греш-

ные, потребляем и то и другое… Еще я пью за брата Георгицэ, старшего над возчиками князя Кантакузина: я уразумел, что он веселый человек и играет на дудке. И за мастера Енаке, коробейника, который носит в коробах вещи легкие, но весьма ценные — девушкам на радость. И после того как всем я поклонился и всех благословил, вижу я, что на дне осталась самая сладость — как же тут хозяйку не вспомнить! От этой Анкуцы и исходит к нам всякое благо. Когда же она нам улыбается, как сейчас, то словно ландыш расцветает и я вспоминаю о весне. Пью в ее честь! И всем остальным кланяюсь, как зеленому бору, — закончил отец Герман, выпил последнюю каплю из кружки и уселся на свое место.

Все пожелания эти порадовали нас, но больше всех доволен был, казалось, конюший.

— Преподобный отец Герман, — заговорил он, — очень мне желательно знать, откуда же идет твое преподобие и за каким делом направляешься ты в город Яссы.

Монах ответил:

— Как я говорил, высокочтимый конюший, местопребывание мое, в ожидании кончины, находится высоко, в Дурэу. Там влачу я дни свои с братьями по пустынному житию; есть у нас

маленькое хозяйство, и держим мы несколько овец и коров. И иногда страдаем из-за медведей: рушат они наше добро, и идем мы на них войной; с божьей помощью побеждаем их топором и ножом, ибо огнестрельного оружия и сабли не надлежит нам носить: мы слуги господни. И так вот, начиная со дня великомученика Дмитрия, замуровывает нас зима словно в берлоге, и не видим мы лика человеческого до самой весны. Тогда спускаемся мы к водам Бистрицы, к друзьям нашим и знакомцам. Тяжкую жизнь ведем мы там, в пустыни…

При этих словах остановилась возле него Анкуца с ковшом.

— Благодарю, сестра, за вино и приветливый взгляд. Можешь наполнить кружку, чтобы не трудиться подходить второй раз. А родился я, почтенный конюший, тоже в горах, в селе Бозиень. Не могу сказать, что я знал своего отца. Знали его мать моя да господь бог. А я рос сиротой, и много раз матушка омывала лицо мое слезами. Обещала она меня монастырю Дурэу в час, когда покидала этот мир, дабы искупить прошлые грехи. И тоже по обету иду я поклониться святому Хараламбие в Яссы. Давно уже должен я был исполнить обет. Но только теперь скрылся из глаз моих Чахлэу,

и чувствую я, как изменился вкус воды, так что и в рот ее взять не могу. И, придя от Бистрицы к водам Молдовы, дивлюсь, сколь обширна эта страна. Останавливался я в селах, и крестьяне принимали меня к себе, как братья. И как шел я обочиной дороги под черешнями, вдруг открылся глазам моим постоялый двор, подобный крепости, и услышал я музыку и голоса. Решил я остановиться отдохнуть и внес переметные сумы в каморку; коль скажу, что мне здесь плохо, то совершу великий грех; только вот совесть меня мучит за то, что не доберусь быстрее туда, куда приказала мне материнская клятва. Вот уже тридцать четыре года прошло с тех пор, как ушла матушка на вечный покой…

— Весьма удивляюсь, отец, тому, что ты говоришь, — перебил его рэзеш. — И я не видел еще церкви святого Хараламбие, и не будь у меня столько запутанных дел, сел бы я в седло и отправился бы с твоим преподобием. Видно, у матери твоей была тайна, которую ты не знаешь.

— Может, и не знаю, — ответил монах, — но когда я был мальчонкой, от земли чуть видать, довелось мне вместе с матерью узреть страшное и пережить смертный ужас. Тогда-то и увидел я того Хараламбие, за которого должен помолиться.

Глаза конюшего обратились к нам в великом недоумении.

— Какого Хараламбие? — спросил он отца Германа.

— Был в стародавние времена такой Хараламбие, весьма известный даже при дворе, — ответил монах вдруг изменившимся голосом и осторожно поставил кружку на землю рядом с собой.

— Кто он был, каков был с виду, что делал? — спросил с жаром конюший Ионицэ. — Я никогда о нем не слыхал.

— Может быть, — продолжал монах, — ибо после того случая много времени прошло. Хараламбие этот был господаревым арнаутом. И вот, почтенный конюший, в одно светлое утро по воле божией опостылела ему служба у ворот господаревых, и ушел он в лес с товарищами, как тогда делалось... И как был, опоясанный широким ремнем в знак власти, в расшитом платье, стал он нападать на боярские дворы и села и брать великую добычу. И были у него свои леса и дороги, заветные колодцы и тропы, которые держал он под своею властью. А того, кто сопротивлялся, он либо кинжалом приканчивал, либо убивал выстрелом из пистолета. После стольких ужасов и человекоубийств пали в слезах к ногам госпо-

даря многие бояре, и купцы, и простолюдины, плачась на злодейства и бесчинства Хараламбие. Господарь приказал исправникам нарядить отряды и поймать злодеев. Отправились отряды, и бились они с разбойниками, да Хараламбие всех побеждал. А когда не мог победить, уходил он тропами тайными в горы, к звериным логовам… И продолжал он свои злодейские дела, покуда крепко не осерчал и не разгневался господарь. На святую Марию, в пятнадцатый день месяца августа, созвал он Диван, и вышел господарь Ипсилант чернее тучи к боярам. Даже на поклоны не ответствовал, а только расчесывал бороду пальцами и пыхтел.

— Стало нам известно о новых злодеяниях разбойников! — закричал он. — Напал Хараламбие на Дубрэвень, на имение наше, ограбил корчму и мельницу! Стольких беззаконий терпеть мы больше не можем! Повсюду стонет и плачет народ! А ты, честной ворник{23}, что сделал, что предпринял?

— Ваше высочество, — заговорил великий ворник из Цара-де-Сус, — уж я всех исправников подгоняю словно плетьми, и отряды они выста-

---

{23} Комментарии: 23

Ворник — придворный чин в Дунайских княжествах *(рум.)*.

вили, но толку от этого мало.

— Никакого толку, почтенный ворник, никакого толку!

— И вправду никакого толку, ваше высочество, но все же теперь известны нам многие убежища и тропинки злодеев да и люди, что их укрывают. Волк возвращается туда, где сожрал овцу, так что теперь нам нужен только искусный охотник.

— Где же взять искусного охотника, коли до сих пор, ворник, все оказались трусами!

— Ваше высочество, этот Хараламбие, пока не восстал, был самым сильным из ваших телохранителей. И такая рука и такой глаз, как у него, только у брата его, Георгие Леондари, туфекчи-баши{24}, человека честного и храброго, который высказывает большое отвращение к злодействам брата. Ваше высочество, я думаю, что надо позвать туфекчи-башу и приказать ему изловить своего брата.

Господарь задумался и, теребя бороду, стал прохаживаться взад и вперед.

— Так-то оно так, ворник, — промолвил он, — знал я, что они братья, и радовала меня верность туфекчи-баши Георгие, но не думал я, что он наи-

---

{24} Комментарии: 24

Туфекчи-баши — начальник придворной стражи *(турецк.).*

лучший охотник из всех. Пусть придет теперь за моим приказом!

Тут же слуги бросились наперегонки в комнату телохранителей, и туфекчи-баша предстал перед господарем. А господарь опустил бороду на грудь и уставился на него сурово.

— Послушай, капитан Георгие, мне по нраву твоя служба, которую несешь ты верой и правдой. Поэтому жаловал я тебя, и с той поры, как я на престоле, добыл ты себе и дом и именье под Яссами. Но знаешь сам, брат твой Хараламбие залил страну слезами. И вот настало время ответить тебе за него. Дается тебе, капитан Георгие, две недели сроку. Выбирай себе подручных сколько хочешь. И по истечении этого срока доставь мне твоего брата, живого или мертвого. А иначе не видать тебе ни лица моего, ни света божьего!

Не сразу ответил туфекчи-баша Георгие. Когда бояре подняли на него глаза, то увидели, что кровь отхлынула от лица его, и хоть был он высок и широкоплеч, а как бы зашатался. И проговорил он потом:

— Понял я, ваше высочество.

Поклонился он, поцеловал господарю руку и вышел. А вернувшись к себе, кликнул солдат и выбрал из них полсотни. Тут же распорядился он

об оружии, лошадях и часе отправления. И уже ночью были они в дороге, в пустынных местах. На другой день Георгие Леондари, узнав об одном грабеже, напал на след разбойников. И с этого часа шел он по следам Хараламбие, словно собака, почуявшая запах зверя. И гнал он его от логова до логова, днем и ночью без отдыха. А на восьмой день, в дождь, на рассвете, постучался кто-то в окно нашей хаты в селе Бозиень.

Мать моя вскочила и быстро отодвинула засов у двери. И вошел наш знакомец, весь промокший. Лицо его осунулось, и в глазах — испуг. Знал я его красивым и гордым. Иногда заходил он вечером, садился на лавку и клал мне руку на голову, лаская меня.

Быстро и хрипло проговорил он:

— Дай мне поесть!

Мать моя испугалась и, дрожа, бросилась за холодной мамалыгой.

Из всего, что я услышал тогда, только вот эти слова не забуду до самой смерти: «Охотится на меня брат мой Георгие, как на волка!»

Даже и перекусить ему не удалось, — послышались снаружи шаги и голоса:

— Выходи, Хараламбие, сад окружен, пропали мы все.

Слышал я, как зарычал он от гнева, выхватил из-за пояса пистолеты и бросился в дверь. Мать схватила меня за руку, и мы тоже выбежали из дому. А в саду увидел я удальцов с оружием наготове. Их было человек восемь или десять. Тут-то я понял, кто такой Хараламбие. Мать моя тихо заплакала, прижимая меня к себе, и я почувствовал, что настал страшный час.

Собаки в селе лаяли не переставая. Вдруг вдали замелькало множество всадников, я услышал голоса и в проулке и за домом. А товарищи Хараламбие разом отступили и оставили его одного, побросав оружие. Тогда появился огромный человек с черными усами. Мать моя вздохнула:

— Это брат его, на него похож!

А тот закричал, угрожая кинжалом:

— Сдавайся!

Хараламбие вскинул пистолет и выстрелил. Когда он бросил пистолет и выхватил с левой стороны другой, чтобы снова выстрелить, туфекчи-баша ударил его кинжалом и свалил с ног. Мать в ужасе закричала. Разбойники бросились на землю и сдались. Солдаты навалились со всех сторон. После схватки и стрельбы один из господаревых слуг поднял вверх голову убитого. Как раз в это время взошло солнце и засверкал в саду

иней. А голова смотрела на меня неподвижными глазами и печально улыбалась.

Туфекчи-баша Георгие вернулся к господарю с головой моего отца. Предстал он перед Диваном и положил ее в красном платке на ковер к ногам господаря. Преклонил он колена и воскликнул со слезами в голосе:

— Ваше высочество, выполнил я приказ! Но прошу я отпустить меня в мое поместье на покой, ибо пролил я родительскую кровь — ту, что течет и в моих жилах…

Горестная это была картина, и прослезились в Диване и господарь и бояре. А туфекчи-баша Георгие, получив соизволение господаря, уединился в свои поместья и, в тоске, для искупления греха своего и прощения заблудшей души усопшего, построил он в Яссах церковь, куда я направляюсь на поклонение…

Вот по какой причине, уважаемый конюший Ионицэ, был я обещан скиту Дурэу. Но сердце мое рвалось к людям. Потому-то и сетую я иногда на столь ничтожные и печальные дни мои…

Рассказ монаха изумил рэзеша, и некоторое время он удивленно молчал. Но, опомнившись, стал уверять нас, что история, которую он хотел рассказать нам, еще более необыкновенна и

страшна.

Змий

— Друзья мои! — громко провозгласил конюший Ионицэ и поднялся во весь свой высокий рост. — Перед господом богом сознаюсь, что от истории благочестивого отца Германа у меня под шапкой волосы дыбом встали, но я хочу вам рассказать историю еще более поразительную и страшную.

— Послушаем рассказ конюшего, — проговорил торопливо, как всегда, дед Леонте, звездочет. — Послушаем рассказ почтенного конюшего! Посмотрим, наготове ли у нас все нам потребное, и станем слушать. Мне как раз очень хотелось попросить тебя, конюший Ионицэ, сдержать свое обещание. С той поры, как я себя помню, еще со времен прежней Анкуцы, у нас так повелось — собираться здесь на беседу и проводить время за вином из Цара-де-Жос. Потягивая доброе винцо, слушаем мы о делах давно минувших. Думается мне, почтенный конюший Ионицэ, не найдется другого постоялого двора, подобного этому, сколько ни ходи по земным дорогам. Таких стен, похожих на крепостные, таких решеток, такого

погреба и вина такого в других местах и быть не может. Не встретить нигде ни такого радушия, ни такого веселья, ни подобных черных глаз: так бы и остался я под их взглядом, пока не придет мой черед отправиться в тихую пристань, откуда нет возврата… А ты не хмурь брови, хозяюшка, потому что я был другом твоей матери. И ей я тоже читал будущее в книге Зодиака, как и тебе читал. Очень хорошо и очень правильно я ей все поведал и думаю, что и ты осталась довольна.

— Да, и я была довольна, — смеясь, ответила Анкуца.

— Оно и понятно, по-иному и быть не может, хозяюшка; ведь в этой вот сумке, у меня на боку, лежит древняя книга, в которой только правда написана. Когда ты меня спрашивала, я тебе рассказал все как положено — тем более потому, что исходит от тебя запах чабреца и ты заставляешь стариков желать сызнова юности.

— Весьма справедливо это, — подтвердил рэзеш из Дрэгэнешть, — да я мог бы это сказать и без книги Зодиака.

— Возможно, конюший Ионицэ, но прошу тебя не забывать своего обещания. Как я говорил, подобные истории только на таком постоялом дворе и можно услышать. Выслушали мы отца

Германа, который опять замкнулся в свою печаль и умолк. Не знаю я, конюший Ионицэ, сможешь ли ты рассказать нам что-нибудь более страшное. По правде говоря, только еще один раз в жизни колотилось так мое сердце, — словно куропатка в когтях сокола.

Хозяйка взглянула на старика своими блестящими глазами и торопливо сказала:

— Это когда ты в первый раз увидел змия, дед Леонте?

— Вот-вот, — подтвердил старик, — когда в первый раз увидел змия.

Мы все разом повернулись к звездочету, и даже отец Герман взглянул на него из зарослей своей бороды.

— Что это ты, братец, о змие болтаешь? — взволнованно спросил конюший Ионицэ и уселся на свое место. — Какой змий? — И он искоса с недоумением посмотрел на всех, словно только теперь нас заметил.

— Когда увидал я в первый раз змия… — заговорил спокойно дед Леонте, — был я парнишкой, годов этак за двадцать, и отец мой учил меня своему ремеслу: ведь он тоже был звездочетом и лекарем, какого на всем свете не сыщешь. И после Ильи-пророка обретались мы с ним при

овцах на холме Болындарь, и он мне показывал днем травы и коренья земные, а ночью звезды небесные. Тогда-то и увидел я в первый раз змия.

Рэзеш из Дрэгэнешть глубоко вздохнул и посмотрел на деда Леонте, как на врага.

— Такого чудовища я еще не видывал, — признался он, и голос его прозвучал слабо и неуверенно. — Рассказывай скорее, дед Леонте, времени у нас хватит.

— Долго мне говорить нечего, — отвечал звездочет, — поведаю только, что сам я видел. С позволения конюшего Ионицэ, я все вам расскажу, а потом мне хочется послушать его историю…

Дед Леонте поправил пояс, ощупал сумку и посмотрел вокруг, чтобы удостовериться, что кружка с вином под рукой. Дед был наш земляк, крестьянин с Молдовы, чисто выбритый, с седыми усами, полным лицом, статный собой и с брюшком. А когда говорил и смеялся — виднелись крепкие, словно стальные, зубы.

— Пока есть у меня такая мельница, — кричал он, бывало, подвыпивши, — не боюсь я и самой смерти длиннозубой!

Дед Леонте начал, по своей привычке, скороговоркой:

— Ну, как это рассказать тебе побыстрее про

этот случай, почтенный конюший? — проговорил он. — В те времена жил у нас в Тупилаць знатный и гордый боярин, и звали его Настасэ Боломир. Был он высокий, угрюмый, а борода большая, словно павлиний хвост, всю грудь ему закрывала. К тому времени он уже двух жен погубил. Первый раз он взял боярскую дочку из Бырлада, но она недолго могла выдержать его лютый и жестокий нрав и вернулась больная и вся в слезах к своим родителям. А второй раз женился он на вдове одного грека — Негрупунте — красивая была эта женщина и богатая. Возложил поп венцы на их головы, да не прошло и двух лет, как однажды осенью увидел я ее желтой и увядшей, словно морозом побитой. Поехала она по докторам заграничным, да там и умерла. Остался наш боярин на время одиноким, и прошел про него слух, что жены у него мрут. Были в селе женщины красивые, да глупые, которые как только его увидят, так и отплевываются, словно от нечистого. Отец даже говорил в шутку, что теперь уж боярин Настасэ Боломир умрет вдовцом, а тому что за горе, когда двор у него полон молодых цыганок!.. Так время и шло, только вдруг слышим — женится боярин снова. Как так? Не то на какой-то вдове из жарких стран, не то на московитской княгине, что ходит

в юфтовых сапогах и с нагайкой: только такая женщина ему и под пару… А вышло-то совсем не то. Отправился он в Яссы, обвенчался в самом главном соборе и привез в Тупилаць в коляске, запряженной четверней, девчушку годков этак семнадцати. Как стали они подыматься на крыльцо, головка ее чуть до бороды ему достает. Была она вся беленькая, а смеялась — словно солнышко сияло. А бабы у ворот и у людской плакали по ней и причитали — уж какая, мол, она махонькая, какая красивая, а бородач ее также погубит. Боломир взял ее осторожно, словно бесценное сокровище, за два пальчика левой руки и повел по каменным ступеням, застланным ковром. Только не довел он ее доверху; повернулась она к нему, засмеялась, мотнула головкой, будто рожками боднуть хотела, вырвалась от него и одна побежала вперед.

Батюшка мой тут же находился. Тряхнул он волосами — не понравилось ему этакое дело.

Ну, теперь стали мы ждать, оправдаются ли бабьи пересуды, только видим, что боярыня Иринуца и не думает сдаваться. А на щеках даже розы расцвели, и смеется она все время, показывая зубки, мелкие, как у мышонка.

Но, видно, остренькие были те зубки, — гля-

дим, стал большой наш боярин как бы меньше и молчаливее.

Захочется, бывало, боярыне Иринуце съездить прогуляться до Романа, а то и до Ясс, — достаточно было ей пальчиком шевельнуть или словечко молвить, как боярин Настасэ склонит голову и все делает по ее воле.

Тут жена писаря с ключницей разузнали, кто их знает откуда, что эта боярская бесовочка небогата да и роду какого неизвестно. Будто бы дочка одной из племянниц отца митрополита… И, говоря об этом, они посмеивались и подмигивали, как и положено бабам, а мне, глупому пареньку, невдомек все было.

Однажды летом, как я вам говорил, был я в овечьем загоне, а на святого Илью-пророка пришел к овцам и отец, и жили мы в шалаше из веток неподалеку от берега Молдовы, поодаль от других чабанов. Оттуда видны были и речки, и отмели, и этот постоялый двор, а позади шли все леса да горы, пока не сливались вдали, словно туман. Что делалось в селе и на боярском дворе, я знать не знал, да и дела мне не было до этого. Вот как-то в полдень сидел я один и приглядывал за котелком, что висел над костром. Вдруг слышу конский топот и, обомлев от страха, вижу, что боярин

Настасэ Боломир останавливается и спешивается возле нашего одинокого шалаша.

— Здравствуй, парень, — говорит. — Ты будешь сын Ифрима-звездочета?

— Целую руку, барин, я буду.

— А где отец твой?

— Отец, — говорю, — недалеко, на косогоре сено косит. К обеду должен прийти.

— Сбегай-ка позови его. Чтобы сейчас же был здесь, одним духом!

Я было замялся, да боярин так грозно взглянул на меня, протянув руку к арапнику на луке седла, что я как был, без шапки, бросился к косогору. По дороге встретился мне отец: обедать шел. Когда услышал, что требует его боярин так строго, буркнул он «гм» и покачал головой, но мне не сказал ни слова. Пришли мы к шалашу, а боярин все стоит возле лошади, опершись локтем о седло и опустив бороду на грудь. Я за шалаш спрятался, а отец смело выступил вперед.

— Ты что здесь, Ифрим, прохлаждаешься? — спросил боярин недовольно. — Я тебя в селе ищу, а ты в пустыни поселился?

— Целую руку, пресветлый боярин, — отвечал отец, — дело у меня здесь было. Но по первому слову вашей светлости я бы все бросил и явился

ко двору.

— Знаю, — проговорил боярин все так же сердито, — да некогда мне ожидать! Послушай, Ифрим, никто не ведает, может, и ты не ведаешь, какая горечь одолела мою душу.

— Страданье от бога, хозяин, пройдет и оно.

— Не проходит. Говоришь как дурак, потому что не знаешь.

— Как же, ваша светлость, знаю, что страданья от любви всего злее, но и они проходят.

Поглядел на него боярин, нахмурившись:

— А что ты знаешь, Ифрим?

— Ваша светлость, — говорит отец мой, — знаю я много, таков уж мой дар, не только по звездам читаю, но и по лицу человеческому.

— Тогда ты, Ифрим, знаешь, что в мой дом вошел дьявол и нет мне больше покоя?

— Знаю, пресветлый боярин.

— Знаешь ли ты, что мучит он меня, словно господа нашего Иисуса? И что подобен я жаждущему, привязанному в наказание к колодезному срубу?

— Так это и есть, хозяин, как вы говорите.

— Послушай, человече, ничего не мог я сделать ни угрозами, ни мольбами, и ради какой-то малости закабалился я бесу душой и телом, словно раб.

Но теперь, как раз сегодня утром, принесла мне ключница постыдную весть: отлучки моей жены бесчестье для меня, а утеха они для старшего сына ворника Вузы. Есть такой Аликсэндрел Вуза, может, ты и видел его: этим летом он дважды переступал порог моего дома, будто бы затем, что есть у него для продажи белые лошади из страны московской. Да он за другим приезжал, только я-то не понял. Теперь я решил в сердце моем, что делать, но заехал я и к тебе, чтоб уж не ошибиться. Ты человек, который может узнать истину, я и хочу, чтобы прочитал ты мне ее…

Редко в своей жизни видел я кого-либо в таком расстройстве и смятении, как наш боярин. Он все теребил бороду и никак места не мог себе найти. Отец же не мешкая пошел в шалаш и тотчас вышел с этой вот сумкой, которую видите у меня на боку. Вынул книгу, уселся у костра на скамеечку, помусолил палец и стал листать страницы. Боярин остался на ногах, возле коня.

— Ваша светлость, в какой месяц и в какой день явились вы на свет божий?

— Родила меня матушка, Ифриме, во вторник, в восемнадцатый день октября месяца.

— Тогда, — произнес отец задумчиво, — надлежит раскрыть на знаке Скорпиона, посмотреть

и в других местах, как положено. Пресветлый боярин, здесь говорится, правда, что вы человек гневливый, и потому, зная за собой эту слабость, вы не должны ей поддаваться.

И начал читать отец по знакам Зодиака, что подходило такому лютому человеку, каким был наш боярин. Был он в надежде, что удастся умиротворить его.

Но Боломир в великом нетерпении только бородой тряс.

— Скажи мне, Ифриме, что написано про мою семейную жизнь?

Отец долго в книгу смотрел и ответил ему так:

— Ваша светлость, супружество ваше находится под знаком Тельца. Свадьбу с госпожой Ириной сыграли в апреле месяце, в светлую неделю после святой пасхи. Значит, по книге Зодиака, женитьба эта самая лучшая и истинная. А здесь, хозяин, пишется так: дом его брачного союза находится под знаком Тельца; значит, он будет счастлив со своей женой… И еще здесь, ваша светлость, говорится: дом счастья его находится под созвездьем Весов; в тот час будет ему великое потрясение от лживых свидетельств… Значит, преславный боярин, если здесь написаны такие слова, то и я мыслю, что речи, услышанные вами,

лживы и надо вам, ваша светлость, изгнать из сердца злые мысли.

Боярин немного призадумался.

— Так ли это, Ифриме, как ты говоришь?

— Так оно и есть, преславный боярин, как я говорю.

— Тогда зачем же уехала в Роман госпожа Иринуца? Уехала вчера и сказала, что приедет сегодня.

— Уехала, ваша светлость, потому что такова воля божья — не допустить беды от лживых слов и гнева…

— Может быть… — пробормотал боярин, немного успокоившись. — И вправду, иначе случилась бы большая беда… Хорошо, человече! И прежде истинные слова сказывала мне твоя книга. Так как же ты думаешь, что мне нужно делать?

— Ждать, ваша светлость, и все будет хорошо.

После этих слов ускакал боярин от нашей хижины. А отец, улыбаясь, долго смотрел ему вслед, покуда он не исчез из виду. Потом оставил висеть на крюке котелок над потухшим костром и приказал мне заложить лошадь. Усевшись в телеге на сено, спустились мы в долину, переехали брод и во весь опор погнали прямо сюда, на постоялый двор. А здесь стояла, поджидая на пороге, та,

прежняя, Анкуца.

Отец спросил ее торопливо, останавливая телегу у крыльца:

— Анкуца, скажи-ка мне, крестница, верное слово. Вчера вечером госпожа Иринуца из Тупилаць проезжала в Роман?

— А как же, крестный, проезжала…

— И обратно, значит, еще не возвращалась?

— Нет. Может, проедет к вечеру…

— Вот это ты, крестница, сказала слово, угодное богу.

— А что случилось?

— Да чему случиться? Сподобилась одна добрая душа открыть глаза Боломиру, и теперь он трясет бородой, скрежещет зубами и жаждет крови.

— Как это так? И кто же это сделал? — воскликнула Анкуца, всплескивая руками. — Чтобы и эту он убил, после того как замучил и свел в могилу двух жен? На том-то свете его черти ждут не дождутся, да пусть и на этом хоть одна из нас отплатит ему.

Так говорили Анкуца и мой отец, и порешили они перехватить госпожу по дороге и предупредить ее, чтоб остерегалась.

И впрямь, почтенный конюший и добрые люди, так оно и случилось в тот же день, под вечер.

Солнце после полудня окуталось знойной мглой, а под горами против него поднимались белые облака. Когда тени легли на дорогу, вдруг видим, катит из Романа в клубах пыли коляска госпожи, запряженная четверней; едет вдоль кукурузного поля, по опушке рощи. И тут вышел мой отец на дорогу, начал размахивать руками, подавая знак об опасности.

Цыган на облучке остановил лошадей, а из клубов пыли появился перед отцом молодой всадник на черном жеребце. Отец сразу его признал по красоте и по смелым глазам.

— Господин Аликсэндрел, — промолвил отец, — возвращайся, а то беда. И не думай ехать дальше.

— Что такое, человече? — послышался голосок боярыни, и я увидел, как она, в белом наряде, под маленьким розовым зонтиком, нагнулась к подножке коляски.

И тогда-то все началось. С Молдовы поднялся сильный ветер и понес над полями пыль, словно завесу. И в это же время увидели мы, как из-за выступа рощи мчится боярин, бороду у него на две стороны развеяло, за ним слуги, и все они вопят во все горло.

Мы так и окаменели, а я почувствовал, что пришел мой смертный час. Аликсэндрел поднял

жеребца на дыбы и попытался выхватить из кобуры пистолет. Боярыня Иринуца взвизгнула и спряталась под зонтик. А боярин со слугами как бросились, окружили коляску, схватили отца и вышибли из седла сына ворника Вузы.

— Негодяй! — страшно зарычал Боломир на отца. — Такова твоя верность, такова твоя наука? Хватайте его, свяжите и выкройте мне из его спины кожу на пару туфель, но только чтоб была без царапинки, без дырочки, а то всех повешу! А ты, разбойник? Ты сын ворника Вузы? Боярского рода? Вот я покажу вам обоим, и тебе и боярыне, как я умею расплачиваться… Эй! — повернулся он к слугам своим. — Берите телегу колдуна, вышибите у нее дно, сбейте с колес ободья, а как останется она на одних ступицах, привяжите к ней обоих, прогоню я их галопом в Яссы, до ограды святой митрополии.

Цыгане вцепились в телегу, начали ее ломать, сбивать ободья. Одни слуги с арапниками навалились на отца, другие стали срывать платье с Аликсэндрела Вузы. А к боярыне Иринуце, хрипя и задыхаясь от гнева, двинулся сам боярин, в левой руке сжимает бич со свинцовою пулькой на конце. Шапка его свалилась, и ветер разметал на его голове волосы и спутал их с бородой.

Вдруг из-под зонтика показалась боярыня, проворная, тоненькая, разъяренная, словно гадюка. Смотрит на него с ненавистью да визжит:

— Постылый, проклятый, не подходи!

Отшвырнула она зонтик, и вдруг на руках у нее выросли острые когти, которыми она грозила мужу. И мне показалось, что я вижу у нее в волосах рожки, которыми она когда-то хотела его забодать.

В это же время отец мой вопил истошным голосом под ножом цыгана Пырля:

— Боярин Настасэ, настигнет тебя гнев божий!

И как прокричал это под ножом старик, на мгновенье все затихло. В горах сверкнуло, и прогрохотал страшный гром. И мы сразу увидели небо, покрытое низко нависшими тучами, а с запада пронесся дикий вихрь, с треском захлопывая все двери на постоялом дворе.

На том берегу Молдовы, за холмом Болындарь, небо сдвинулось с места, как бы кружась, ринулось к земле: нечеловеческий, неслыханный рев раздался с той стороны и заполнил долины. Все мы вытаращили глаза и увидели змия, летящего с огромной быстротой, как крутящийся вихрь.

Я увидел его да так и затрясся. Он двигался прямо на нас. Тонким хвостом, похожим на черную

трубу, ощупывал он землю, тело его вздымалось в воздухе, а пасть разверзлась в тучах, словно воронка. И так, с ревом, мчался он, шевеля хвостом, втягивал в себя стога сена, крыши домов, вырванные с корнем деревья и играл ими в вышине. Выл он и низвергал град и дождь, словно поднял ввысь всю воду Молдовы и обрушил ее на нас.

Как увидели цыгане это страшилище, так и попадали на землю. Анкуца спряталась где-то на постоялом дворе, в чуланчике. Я бросился к отцу, чтобы развязать его, и едва успел укрыться возле него под телегой. Вихрем повернуло на месте дрожки с лошадьми, и они помчались к Роману, унося с собой и сына ворника Вузы. А боярина змий погнал в другую сторону, схватил его, завертел, закружил, разметав бороду по ветру, и бросил полумертвого в овраг, немного поодаль. Едва это свершилось, как вихрь, примчавшийся с рек и гор, утих, и лишь звериный рык еще стоял надо всем, и я видел, как змий помчался к северу, сперва похожий на столб, потом прозрачный, как дым, пока понемногу не рассеялся вдали.

От всего этого боярин Боломир вскоре помер. И какие-то люди выдумали, будто бы отец мой вызвал змия из его пещеры. Как мудрый знахарь, отец им не перечил — пусть люди болтают все,

что им хочется, да ему-то лучше, чем кому другому, известно было, кто повелевал чудовищем бури. И вправду, о белокурой бесовочке никто больше ничего не слыхал и нигде ее не видал.

Колодец под тополями

Косые лучи солнца проникали на постоялый двор Анкуцы, поблескивали в окнах с решетками. Цыгане-музыканты, сверкая зубами, поднялись из своих углов. Густобровая Анкуца снова раздула огонь в остывшей золе, а мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, только искоса поглядывали на пустые кружки, поставленные в ряд возле тележных дышел. Но на скрипки и кобзы еще не было спроса. И даже конюший Ионицэ из Дрэгэнешть не приступал еще к обещанному рассказу. Вдруг по дороге на Роман в лучах солнца и клубах пыли показался всадник. Его пегая лошадь, вытянув шею, с развевающейся гривой словно подплывала к нам быстрой иноходью.

Над горами неподвижно стояла дымка; Молдова медленно текла под золотистым солнцем, одинокая и спокойная, как всегда; и поля были голы, и дороги на все четыре стороны пусты; только всадник на пегой лошади приближался

к нам будто из далекого прошлого, из каких-то неведомых стран. Поравнявшись с постоялым двором, он завернул к нам, — видно, суждено ему было здесь остановиться; затем, сняв черную войлочную шляпу, поздоровался и пожелал нам всем счастья.

Это был человек уже немолодой, но на лошади держался он прямо и ловко. Носил он юфтовые сапоги с высокими голенищами и темно-синюю суконную безрукавку с круглыми серебряными пуговицами. На плечах держался на одной только цепочке кунтуш с куньим воротником. У бедра висела сумка желтой кожи и пистолеты в кобурах. Смуглое лицо его, с подстриженными усами и окладистой бородой, с орлиным носом и густыми бровями, было еще красиво и мужественно, хотя закрытый правый глаз придавал ему печальное и странное выражение.

Сошел он с лошади, приветливо улыбнулся и посмотрел на нас ясным голубым глазом, а конюший Иониця, узнав его, вскочил со своего места и, простирая руки, закричал во весь голос:

— Да неужто я ошибся? Не ты ли это, мой друг

Некулай Исак, капитан мазылской конницы{25}?

Улыбка с лица всадника исчезла, глаз его округлился и уставился на конюшего.

— Да, — ответил он тихим, приветливым голосом, — я Исак. Теперь я тебя тоже узнаю. Ты — конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

С удовольствием смотрел я, как они обнимались. Приятно это было и всем остальным. Ласково глядела на них и Анкуца.

Вдруг из-за стены постоялого двора старая, тощая кобыла конюшего оскалила зубы и заржала.

— А ведь она у меня от той самой кобылы, на которой я ездил в молодости, — сказал конюший, гордо поднимая голову и выпуская капитана из объятий.

Приезжий обратил свой глаз на старое пугало, слегка улыбнулся, но не очень-то удивился.

— На ней изъездил я всю страну, — продолжал конюший. — Помнишь, как мы с тобой скакали по дорогам и молодость прожигали? Однако с той поры, как мы расстались, ты, вижу я, потерял глаз.

{25} Комментарии: 25

Мазылская конница — нерегулярная конница в старой Молдове, набиравшаяся из мелкопоместных, не состоявших на службе бояр — мазылов. Капитан мазылов в мирное время обычно выполнял различные административные функции.

— Да, потерял, — тихим голосом ответил путник. — Большое несчастье случилось со мной. И вот бог привел меня снова в те места, где я когда-то попал в беду.

— Как так? Неужто здесь это случилось?

— Да, мой друг. Позволь только мне отвести лошадь под навес, расседлать и засыпать ей овса. Потом за стаканом вина я расскажу тебе о том, чего ты не знаешь…

Капитан быстрыми шагами направился к конюшне, ведя лошадь на поводу. Анкуца вздрогнула, видимо, вспомнив что-то, посмотрела ему вслед и прошептала конюшему:

— Это тот человек из Цара-де-Жос, про которого рассказывала моя мать, когда я была девчонкой?

— Он самый, — ответил конюший. — Некулай Исак из Бэлэбэнешть Тутовского уезда. В молодости мы были с ним большими друзьями.

— Мне матушка рассказывала, — продолжала Анкуца, — что плохо пришлось ему, чуть было не убили его какие-то цыгане здесь, у брода в Тупилаць. Страшная это история, только я ее не помню.

— Раз так, нам все расскажет сам капитан Некулай, — с удовлетворением произнес рэзеш. — Знай, милая Анкуца, этот капитан из

Бэлэбэнешть, который смотрит теперь на нас так спокойно и говорит так степенно, был человеком, каких мало встречалось в стране молдовской. Отважный, удалой, красивый… и опасный. Рыскал и рыскал он по дорогам, и все по делам любовным. Поднимался на горы, к монастырям, и спускался в долины. А за женщину, которая нравилась ему, всегда готов был жизнь отдать. Уж такой он был. Куда ни глянешь, всюду были у него любовницы. И ездил он по дорогам без отдыха и без удержу…

При этих словах мы, рэзеши и возчики из Цара-де-Сус, весело переглянулись между собой: капитан-то, оказывается, из тех людей, что нам по душе! А молодая Анкуца с улыбкой подняла брови и поправила бусы на шее и завитушки за ушами. А когда увидела, что капитан возвращается к нам, прошла мимо него танцующей легкой походкой, чуть изогнувшись, зная, что это ей очень идет.

Капитан Некулай шагнул к чурбану у огня. Он снял кунтуш и завернул в него пистолеты. Сверху положил узду и седло и, довольный, сел рядом с нами, поглядывая вокруг.

Словно угадав, чего ему хочется, Анкуца змейкой выскользнула из погреба, неся в правой руке

полный кувшин, а в левой — новую кружку. Заливаясь румянцем и запыхавшись, она остановилась у огня и протянула капитану кружку. Музыканты незаметно подошли поближе и с лукавой улыбкой пощипывали струны.

Когда я увидел, что дед Леонте, звездочет, ищет себе места около обоих приятелей, я, не долго думая, поднялся с дышла, на котором сидел, сделал два шага вперед и храбро заговорил:

— Почтенный капитан Некулай! Мы все здесь, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, очень хотим распить с тобой по кружке молодого вина и послушать о той старой истории…

— Дорогие друзья, — ответил мне капитан, — я всегда любил пить вино в компании. Одной только любви нужно уединенье. Наше собрание вольное и открытое, а все вы мне — как братья.

Тут же мы наполнили кружки, подняли их в честь капитана и сгрудились вокруг него; музыканты же заиграли печальную песню старой кукушки. А вскоре, как выпили мы вино, и Анкуца закончила жарить цыплят на костре.

Когда появилось еще вино и мы снова выпили, капитан Исак из Бэлэбэнешть слегка загрустил, обнял конюшего Ионицэ за плечи, вздохнул, поглядел на дымчатые горы на западе и сказал:

— Бедная страна молдовская! Ты была краше в дни моей молодости!

Затем он обернулся к Анкуце и с чувством подхватил последние слова песни, которую играли музыканты:

Ты раскинь, краса, бобы…
Погадай, краса, скорее,
Отчего же лес желтеет,
Человек живет, стареет…

Он взял за руку хозяйку, и та не смутилась, а только все щурилась, словно кошечка, которую ласкают. Мы же сидели молча, потому что понимали, что капитан собирается рассказывать о том давнишнем случае.

— Люди добрые, друзья мои, — заговорил капитан Исак из Бэлэбэнешть, — послушайте, что приключилось со мной в этих краях, когда я был молод. С тех пор минуло больше двадцати пяти лет. Уж стала у меня путаться память о тех временах. Был я необузданный и озорной. Лошадь моя всегда была под седлом, и старики мои неделями не видали меня. Мать моя причитала, проклинала, каждое воскресенье заказывала литургию попу Настасэ, чтобы я утихомирился и женил-

ся. А отец только молчал да смотрел в сторону, потому что и он был такой же, как и я, и много огорчений доставил в свое время моей матери. Не говорю, что я был бездельником. Были у меня овцы и пастбища, а по осени торговал я вином, но любы мне были черные глаза, и из-за них много я согрешил. Вот конюший Ионицэ может сказать, сколько дорог изъездил я, потому что и он в свое время был подвержен той же страсти, и часто мы бывали товарищами.

Так вот однажды, такой же осенью, как и эта, вез я вино в Сучавский край. И вместе с возницами и бочками остановился на привал на постоялом дворе Анкуцы. Был я в большой печали, потому что любовь моя в том году отцвела вместе с летом. А мать этой Анкуцы поглядывала на меня исподлобья и посмеивалась, потому что и вино мне не нравилось, и от музыки тошно было. Бродил я словно в воду опущенный и одинокий, как кукушка.

Суббота была, время к вечеру. Сел я на коня и тихонько поехал тропкой среди жнивья. И слушал в одиночестве, как курлыкают в небе отлетающие журавли. Выбрался я на берег Молдовы и поехал долиной между рекой и лугом. В Тупилаць зазвонили церковные колокола. Оста-

новил я лошадь и слушал в тоске, пока они не затихли. Как сейчас помню, когда умолкли эти колокола, раздался перезвон в церквах других сел — звонили далеко и глухо, отзываясь, казалось, в самом моем сердце. Потом очнулся я, увидел в воде свое отражение — и сам себя испугался, словно какого-то призрака.

В задумчивости тронулся я дальше и вдруг услышал чьи-то голоса. Я как раз проезжал вдоль ракитовых зарослей, и оттуда не было видно воды. Пробрался я тропкой сквозь заросли, и тут открылись передо мной горы в закатном огне, речушки и ручьи между песчаными отмелями. Целая стая цыган только что окончила отводить воду из одной речушки, и теперь бросились они за рыбой, вопя и прыгая, как черти.

Придержал я лошадь и слышу: грубый голос словно приказывает что-то. Цыганята и женщины остановились. Потом, повинуясь этому же голосу, пустились дальше. А от канавы, прямо через речку, направился ко мне старый высокий цыган в постолах, шагая медленно, как на ходулях.

Кто-то крикнул позади него:

— Эй, куда ты, Хасанаке?

Он даже не соизволил ответить. Попыхивая

трубкой, подходил он к берегу.

С того берега бросилась за ним девушка в красной юбке. Один из рукавов реки оказался глубоким, и она завизжала и засмеялась, поднимая юбку до самых подмышек. Она быстро перешла брод и побежала по камешкам впереди старика.

Хасанаке хрипло закричал на нее и пригрозил кулаком:

— А ну, девка, назад!

Она тряхнула непокрытой головкой и сверкнула зубами. Потом остановилась поблизости и стала изумленно меня разглядывать, словно редкого зверя.

— А ну назад, эй, Марга! — снова крикнул старый цыган. — Оставь барина в покое!

Она опять строптиво тряхнула головой и засмеялась.

Это была девушка лет восемнадцати. Я видел в воде чистые линии ее точеного тела. Она стояла около меня в рубашке и красной юбке. Лицо у нее было совсем детское, но нос с горбинкой и трепещущими ноздрями и живые глаза сразу привели меня в волнение. Я чувствовал, как по мне разливается огонь, будто я хватил крепкого вина.

Хасанаке подошел к ней и замахнулся. Она отпрянула в сторону, обежала вокруг меня и отошла

к воде. На берегу она остановилась и принялась опять меня разглядывать.

Старик вынул изо рта трубку, сплюнул и хмуро улыбнулся. Все передние зубы у него были выбиты.

— Целую руку, барин, не смотри ты на нее. Девчонка глупая, людей еще не видала.

Марга хохотала, стоя на берегу, и ее черные гладкие волосы блестели, как воронье крыло.

Хасанаке погрозил ей трубкой, потом снова обернулся ко мне:

— Ты, должно быть, тот барин, что остановился на постоялом дворе; везешь вино издалека, из Цара-де-Жос…

— Да, а откуда ты знаешь?

— Музыканты мне сказали — они из наших. Увидел я новое лицо и понял, что ты и есть тот самый. Коли поднесешь мне на бутылку водки, поцелую тебе руки и скажу спасибо твоей светлости. Окажи милость старому немощному цыгану!

Мало-помалу вся ватага бросила ловлю, и цыгане подошли ко мне, толкая друг друга. Те, что стояли позади, вытягивали шеи и разглядывали меня через головы передних. Некоторые о чем-то спрашивали Маргу. Она отвечала шепотом, улы-

баясь, и искоса то и дело поглядывала на меня.

Я вытащил из-за пояса кошелек, открыл его и вынул серебряную монетку. Хасанаке поймал ее на лету и быстро спрятал за щеку. Я вынул другую монету и поманил цыганочку. Словно ящерица скользнула она ко мне и поймала монету в подол.

Хасанаке заорал на остальных и погнал их обратно к воде.

Мне нечего больше было делать среди этой суматохи. Нерешительно повернул я к постоялому двору. Поднимаясь по склону, я глянул назад. Марги уже не было видно.

Я чувствовал какую-то досаду. Лошадь медленно шла по мягкой пахоте, а я думал о том о сем, и в думы мои все время врывалась цыганочка в красной юбке. Свернул я на прогалину и неожиданно в зеленой лощинке, среди четырех тополей, увидел маленький колодец, выложенный поверху камнем. Место было таинственное, пустынное. Неподвижная вода, наполнявшая колодец почти до краев, казалась живой: это отражался в ней непрерывный трепет листвы.

Лошадь наклонила голову и вырвала пучок травы. Я дернул поводья и дал шпоры. Вскоре показался постоялый двор. Тогда я в последний

раз обернулся назад. На вершинах тополей, на камнях одинокого колодца горело заходящее солнце. А внизу, в тени, стояла Марга, защищая ладонью глаза. Быть может, мне только показалось? Почудилось? Лишь один миг видел я ее, пока сияло солнце над верхушками тополей.

Тогда еще я не знал, как знаю сейчас, женскую душу, но все же на другой день утром я поджидал Маргу. Пока люди выводили волов, чтобы запрягать их в телеги, а дед Иримия, старший у возчиков, разъяснял мне, какой дорогой поедем, я все время посматривал на тропинку, что вела в Тупилаць. Но та, кого я ждал, все не показывалась.

Я поправил кобуры и осмотрел пистолеты. Потом нагнулся, чтобы подтянуть подпруги у лошади, решив вскочить уже в седло. Только поднял голову — в двух шагах от меня стоит Марга. Протягивает руку, хочет погладить морду коню. Смеется. На ней все та же красная юбка и голубая кофточка. Голова повязана алым, как кровь, платком, на шее несколько рядов бус, а на ногах новые полусапожки. И вся она, резвая, как черная козочка, выросла словно из-под земли. Но на меня даже не смотрит.

Почувствовал я, как забилось мое сердце, и

понял, что дорога она мне, хоть она и простая цыганка. Когда я спросил: «Это ты?» — она вздрогнула, и ноздри ее затрепетали.

— Целую руку, барин, это я. Пришла спасибо сказать… Вчера вечером едва дождалась, когда кончит еврей свой субботний отдых, и пошла к нему с вашим карбованцем. Вот сапожки себе выбрала!

И она показала мне свои полусапожки, поднимая то одну, то другую ногу и подхватывая юбку кончиками пальцев.

Дед Иримия проворчал что-то и отошел к своим возчикам. Он меня уже знал. Я же подошел ближе к девушке, улыбаюсь ей и говорю:

— Ты, я вижу, нарядилась по случаю воскресенья. А красива, словно барышня.

Слова мои ей очень понравились. Щеки у нее раскраснелись. Она качнула головой и взглянула мне в лицо:

— Нет, я не для церкви оделась!

— А зачем тогда?

— Так мне захотелось. Я пришла в корчму — за водкой для дядюшки Хасанаке. И еще тебе, барину, спасибо сказать.

— А я думал, ты пришла мне поворожить!

— Нет, барин, я не старуха и врать не хочу. Да и

о чем мне тебе ворожить?

— Думается мне, могла ты погадать, с кем хотел бы я повстречаться в одном местечке.

— Где? — шепнула она, и все лицо ее засветилось. — У колодца под тополями?

— Да

— С той, кого вчера вечером там видел?

— Да. С тех пор все тоскую по ней.

— Может быть, барин, — отозвалась она тихо, и глаза ее затуманились. — Но она бедная девушка из цыганского табора, а ты только шутишь. Ведь сам-то уезжаешь. Вон волов уж запрягли, и возы тронулись. Сядешь и ты в седло, а я тебя жди-пожди. Кто знает, где ты к вечеру будешь.

— А ты дожидайся, — ответил я и посмотрел на нее пристально, без улыбки. — Зайдет солнце, и я через два часа вернусь, буду там.

Опустила она голову и задумалась. Потом заговорила на другой лад, а на меня все не смотрит:

— А когда отвезешь вино куда нужно, этой дорогой поедешь, здесь остановишься?

— Этой, этой. Разве только задержка будет, если боярин из Пашкань денег не приготовит.

— Да?

Потопталась она немножко на месте, то вправо, то влево изгибая стан свой и старательно раз-

глядывая сапожки. Потом вдруг схватила мою руку, в которой я держал поводья, поцеловала ее, повернулась и убежала. Исчезла она где-то за стенами постоялого двора. Смотрел я, смотрел, но больше так и не увидел ее.

Вышла на порог Анкуца — получить деньги за постой. Хоть уж и не молодая, а красивая была женщина, полная, статная. Улыбнулась она мне, лукаво покачивая головой, потому что все она понимала, все видела. Вот такая же была, как и эта Анкуца, что смотрит теперь на меня и смеется. Только эта моложе и красивее.

Люди тронули волов, и возы, скрипя, выехали на дорогу. Когда проехал мимо последний, одиннадцатый воз, вскочил и я в седло. Музыканты из своего угла, сняв шапки, поклонились мне до земли. Выехал я на дорогу, и Лупей, огромный серый пес, которого дед Иримия спустил с цепи, залаял и стал прыгать вокруг коня. Ясное осеннее утро занималось над долиной Молдовы. Издалека опять доносился колокольный звон, но теперь звон этот мягко и сладко проникал мне в душу.

Так я и ехал долгое время, — солнце светило в спину, а слева была Молдова. Проехали мы села рэзешей: Митешть, Нэврэпешть и Мирослэвешть. Потом свернули из долины Молдовы и стали под-

ниматься по длинному отрогу к Брэтешть. Когда добрались туда, в лесу, у самого скита, сделали привал. Но не могу вам сказать, о чем я говорил с людьми, пока мы ехали, и что видел, потому что другие картины и видения увлекали меня далеко-далеко.

К закату солнца были мы в Пашканах, и я явился на боярский двор. Поздоровался я с боярином Канта и доложил, что привез вино по уговору. Похлопал он меня по плечу, сказал: «Вот это ладно», — велел приготовить мне комнату для ночлега и собрать для меня на стол, и порешили мы, что будем разгружать возы на другой день. Рассказывал он еще мне, как в этом году побило градом его виноградники в Котнарь, только я его не больно-то слушал, потому что уже свечерело и над Серетом поплыли туманы.

Отужинал я, проверил людей, распорядился на ночь и шепнул несколько слов деду Иримии. Тайком вывел он мне за ворота коня. Лупей увязался за мною. Сначала ехал я шагом. По селу взял легкой рысью. Потом обжег коня арапником. Весь путь одолел я так, что ветер в ушах свистел, и только в селах попридерживал лошадь. Через два часа после захода солнца я увидел, как поблескивает одинокий огонек на постоялом дворе

Анкуцы. Свернул я в сторону и пустил коня прямо жнивьем. Потом выехал на дорожку. А как почувствовал, что подъезжаю к колодцу под тополями, пустил лошадь шагом. Сердце мое так и билось — боялся я, что никого не встречу. Словно над пустыней, поднималась с востока красная луна, уже на ущербе.

Вдруг, когда до меня донесся шелест тополей, Лупей тихо зарычал. Я спрыгнул с коня. Шепнул ему: «Лупей, не балуй!» — остановился и весь задрожал: Марга была возле меня. Освещенная слабым светом луны, стояла она чуть-чуть боком ко мне, отвернувшись, заслонив лицо локтем левой руки. Когда я коснулся ее, она опустила руки и повернулась ко мне. Я услышал, как она тихо засмеялась. Все свои украшения надела она на себя: я чувствовал их на ощупь, обнимая ее. От нее не пахло табаком, а головка ее благоухала цветами.

В те молодые годы мои, казалось, и ночи бежали быстрее. И говорил я меньше. Когда скрылась луна, конь тихонько заржал. Я поднялся и стал у края колодца. Марга прильнула к моему плечу, прижалась головой к моей груди и заплакала.

— Не будь глупенькой, не плачь! — уговаривал я ее. — Сегодня вечером я вернусь. Хочу привезти

тебе из Пашкань лисью шубейку.

Она, глубоко вздыхая, прижималась ко мне.

— Не вернешься ты. Ведь я простая холопка, не стою тебя. Но я тебя буду ждать и умру у колодца, если не придешь!

Я прижал ее к себе и закутал в кунтуш, потому что она вся дрожала. А потом она поцеловала меня, я вытер ей глаза и покинул трепещущую, всю в слезах. Вскочил я в седло и помчался, думая только об одном — как бы вернуться к Марге. И чем больше я удалялся, тем больше чувствовал ее рядом с собой.

В Нэврэпешть я увидел, как над Молдовой заклубился туман и на востоке заалела заря. Когда я подъехал к Пашканам, в дымке над Серетом взошло солнце. Я спешился у ворот и ввел коня в конюшню. Подошел к колодцу и сполоснул лицо холодной водой. Потом спустился в погреб, откуда был слышен недовольный голос деда Иримии.

Мы благополучно выгрузили вино. Все бочки с далеких виноградников после путешествия на скрипучих возах при свете осеннего солнца спустились в темные подвалы. Боярские слуги постукивали по ним и, вынув затычки, тянули вино через камышинки. Наконец явился и сам боярин, осушил для пробы кубок, чокнулся со

мной и снова сказал: «Браво... Теперь, капитан Некулай, — продолжал он, — пойдем на террасу, подсчитаем — и получай ты что положено!»

Набил я целую сумку серебряными флоринами, что дал мне боярин. Смиренно склонился перед его светлым лицом, приложился к руке и спустился к своим спутникам. Было около полудня. Решили мы после обеда тронуться в обратный путь.

Не хотелось мне есть, да и невкусной показалась мне еда. Наспех проглотил я что-то и с думой о будущей ночи бросился расспрашивать людей и боярских слуг о лисьей шубейке. Были бы деньги — все найдется. Я сразу же нашел шубейку, крытую красным сукном. Взял я ее в руки, и представилась мне радость цыганочки, а ее быстрые глазки сверкнули искрой в моем сердце.

Медленно ехали мы обратно, вслед за волами. День был тихий, безветренный. В высокой буковой роще, покрытой инеем, тихо падали листья и, шурша, плавно опускались на землю; казалось, лес был живым существом и тяжко вздыхал. Ехал я ленивым шагом и дремал в седле, обласканный солнцем, — все грезил о возлюбленной у колодца под четырьмя тополями.

Так и двигался я с возами до самого вечера.

Торопиться пока было некуда. А потом, когда нетерпенье пожаром охватило меня, подскакал я к головному возу и шепнул деду Иримии:

— Дедушка Иримия, заночуем на постоялом дворе Анкуцы. Я поеду вперед. Там вас подожду.

Старик с упреком посмотрел на меня:

— Хорошо, капитан Некулай. Поезжай куда знаешь, встретимся на постоялом дворе.

Я пришпорил коня. Не успел далеко отъехать, как вдруг запрыгал вокруг меня с радостным лаем Лупей. «Старик заботлив, как всегда, — подумал я, — сторожа мне прислал».

Пустил я лошадь ровной рысью и заслушался, как в тихих сумерках бьют копыта по дороге. В чистом небе зажглись звезды. Несколько огоньков как будто перемигивались с другими огоньками — там, что на холмах за Молдовой. Дорога была безлюдна, поля застыли в тишине, словно окутанные тайной.

Я повернул лошадь напрямик к знакомому месту. Луна еще всходила.

Под тополями у колодца в лощинке было темнее. Я спешился и пошел, надев повод на левую руку. Остановился, но ничего не услышал, кроме непрерывного трепета листьев. Коня я привязал к кусту под одним из тополей, а Лупей свернулся

калачиком в траве у конской морды.

Ждал я недолго. Когда на востоке, как испуганный глаз, выглянула луна, собака зарычала. Но сразу же замолкла, — видно, узнала того, кто подходил к нам. Я шагнул к колодцу. Сквозь сумрак я увидел тень Марги; казалось, она бежала. Глухо вскрикнув, она остановилась: увидела меня. Потом бросилась вперед и обвила мою шею руками. Она тяжело дышала, крепко обнимая меня и всхлипывая. Долго так стояла она, прильнувши ко мне, потом успокоилась и вздохнула протяжно и глубоко.

Я бросил кунтуш на траву возле каменной стенки колодца и сел. Девушка стала на колени рядом со мной. Я заговорил, лаская ее:

— Марга, вчера вечером тебе было холодно и ты дрожала. Я привез тебе шубку, как обещал.

Она ощупала шубейку, радостно засмеялась и надела ее в рукава. Ласкаясь, она сказала:

— Теперь я вижу, барин, что ты немножко скучал о бедной девушке…

Она легла рядом со мной. Я обнял ее, ласкал, а она трепетала и стонала, словно раненый зверек.

— Что с тобой, Марга? — спросил я немного погодя.

Тут она вскочила, как будто кто ее стегнул, и стала колотить себя кулачками по лбу.

— Барин! Растопчи меня ногами, убей меня и брось в колодец за то, что я тебя раньше не остерегла.

Внезапно встревожившись, я резко схватил ее за руки.

— Что такое, не понимаю! Говори ясней!

Теперь она плакала, склонившись к моим рукам и целуя их.

— Почему ты меня не бьешь? Почему не убиваешь? Знай же: вчера утром в корчму послал меня дед Хасанаке. Он видел, что ты не сводишь с меня глаз, и приказал мне пойти к тебе, чтобы я запала тебе в душу и мы бы встретились… И рассказала бы я ему, где это будет. А он с двумя своими младшими братьями, Димаки и Турку, придет, когда ты будешь со мной, один украдет твою лошадь, а двое других набросятся на тебя и убьют…

Я едва разбирал эти слова сквозь ее рыданья.

— А ты что сделала? Сказала, где мы встретимся?

— Сказала, а то бы они меня убили.

— А почему же они не пришли вчера вечером?

— Дожидались, когда вернешься с деньгами, полученными за вино.

— А теперь придут?

— Придут! — глухо воскликнула она. — Не могла я побороть любовь, хотела еще побыть с тобою, потому и не сказала сразу. А теперь не могу больше скрывать: хотят они тебя убить и забрать деньги. Они уже не первый раз так делают и ничего не боятся! Теперь я знаю, что они меня зарежут, поняли, что люблю я тебя, и догадываются, как это ты спас свою жизнь, да теперь мне все равно!

Я вскочил, меня словно мороз по коже подрал. Девушка обхватила мои колени:

— Беги же! Беги!

Голосок ее дрожал от ужаса. Но было слишком поздно. Собака вдруг яростно и злобно зарычала. Я бросился к лошади. «Теперь мне конец пришел: услыхали они меня!» — застонала Марга, уткнувшись лицом в землю. Позади меня в темноте раздался громкий, полный ненависти крик. Я узнал голос Хасанаке.

В несколько прыжков я был возле лошади. Лупей, рыча, набросился на кого-то в кустах и, вцепившись зубами, стал его рвать. Я подбодрил собаку, понизив голос: «Хватай, Лупей! Рви его!» Это был сильный, свирепый пес, на него я мог понадеяться.

Я рванул повод, вскочил в седло и расстегнул обе кобуры. С пистолетом в руке я дал лошади шпоры и помчался вслед за лающей собакой. Позади меня кричали цыгане, подбадривая друг друга. Вымахнув на всем скаку из долинки, я различил в светлеющей дали, как удирал от собаки цыган, похожий на пугало. Я выстрелил из пистолета, но собачий лай все удалялся: я промахнулся.

Я погнал лошадь по равнине на лай Лупея. В седле я держался крепко, при мне были пистолеты, и я не боялся. Но, гонясь за тем, кто был впереди, я чувствовал, что меня тоже кто-то преследует. Все ближе позади себя я слышал возбужденные крики с обеих сторон, как будто мне хотели отрезать путь. Ущербная луна проливала на сжатые поля слабый свет. Уже отчетливо виден был бегущий впереди. Я глянул направо и налево. Цыгане гнались за мной, отталкиваясь от земли шестами. Иногда они выкрикивали какое-то слово, советуя что-то переднему. Вдруг я понял, что это за совет, заметив, что мчимся мы по кривой. Преследуемый Лупеем цыган бежал по жнивью, петляя, задние настигали меня.

Неожиданно они выскочили с обеих сторон мне наперерез. Они прыгали, пригнувшись к земле и

извиваясь, словно черные дьяволы. Один из них остановился на месте справа и взмахнул рукой, другой уже подбегал слева. Мгновенно понял я всю опасность, однако был слишком увлечен погоней. Засвистели шесты, брошенные под ноги моей лошади. Перевернувшись, я вылетел из седла. Но к этому я тоже был привычен. В момент паденья я высвободил ноги из стремян, кубарем покатился по жнивью, быстро вскочил на ноги и приготовился драться. Цыгане налетели на меня. Железное острие со свистом впилось мне в уголок правого глаза. Я поднял пистолет и на расстоянии одного шага выстрелил в своего противника, попав ему между глаз. Он рухнул на меня, залив меня своей кровью. Рядом с собой я услышал дикое рычанье Лупея, который рвал второго.

Я почувствовал под собой тесак, которым меня ударили. Схватив его, я вскочил на ноги. В правом глазу глубоко сидела жгучая боль и кипела кровь. Здоровым глазом увидел я в стороне от дороги огонек постоялого двора и от волнения и боли завопил не своим голосом. Лупей рычал около меня и вертелся под ногами. Двое врагов исчезли в темноте. С постоялого двора в ответ мне донеслись пронзительные крики и зажглись огни.

Пока пришли мои товарищи, я туго перевязал

шейным платком поврежденный глаз. Лошадь хрипела в пяти шагах от меня и все пыталась подняться. Когда возчики окружили ее и осмотрели, то убедились, что передние ноги у нее перебиты. Там мы ее и бросили. Глухим, не своим голосом отозвал я всех к колодцу. Все двинулись с факелами к тополям; словно пьяный потащился и я, скрипя зубами, ослабевший и жалкий. У тополей я увидел, как все столпились, наклоняясь над каменным краем колодца. При свете факелов блестела свежая кровь.

— Они убили ее и сбросили в колодец… — еле выговорил я.

— Кого сбросили, кого? — спросил дед Иримия.

Я был уже не в силах ответить. Из-под платка снова хлынула кровь: она стекала по усам и попадала мне в рот. И мне казалось, я чувствовал на вкус ту кровь, что залила камень колодца.

Когда капитан Некулай закончил свой рассказ, солнце уже село за горы и над долиной Молдовы и постоялым двором распростерлась мгла. Огонь потух. Мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, сидели молчаливо и печально. Только конюший Ионицэ что-то бормотал и высокомерно посматривал вокруг себя. Молодая Анкуца проговорила:

— Вот и мне мать когда-то об этом рассказы-

вала. Два других цыгана убежали и скрылись в лесу…

— Да, так-то… Вот какие дела бывали во времена нашей молодости… — гордо подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

Вскоре и я осмелился подать голос:

— А сохранился еще этот колодец с четырьмя тополями?

— Нет уж больше его, — тихо ответил дед Леонте, звездочет. — Разрушился, как и все в этом мире…

Но капитан, казалось, видел перед собой колодец. Сгорбившись и низко опустив голову, сидел он неподвижно на своем месте. На его правой сморщенной щеке и у выколотого глаза, казалось, навсегда застыла печать страданья. А живой его глаз, большой и мрачный, пристально смотрел вниз, в черный колодец прошлого.

Немного погодя, когда совсем стемнело, снова зажгли огонь. Капитан Исак поднялся, взял за руку Анкуцу и попросил для себя и для всех остальных еще по новой кружке старого вина.

Другая Анкуца

— И правда, в старое время случалось такое, чего теперь и не увидишь, — медленно заговорил в вечерней мгле Енаке-коробейник.

Он еще, казалось, не мог опомниться после рассказа капитана Некулая Исака. Но все же голос его вернул нас к действительности. Ожидая Анкуцу с новыми кружками и свежим вином, мы разговорились, ближе знакомясь друг с другом. Из долины Молдовы налетел легкий ветер. Я придвинулся к костру и подбросил сухого хвороста в огонь, задремавший под своей пепельной шубкой. Когда взвились яркие языки пламени и мы снова увидели друг друга, ветер утих, легкий осенний туман окутал нас и весь постоялый двор.

— Теперь уж нет таких людей, как были когда-то, — продолжал коробейник Енаке, а конюший Ионицэ в знак согласия кивнул головой. — Другой народ теперь пошел, хилый.

— Что верно, то верно! — проворчал рэзеш из Дрэгэнешть.

— И зимы тогда суровей были, — решительно заявил коробейник, поднося к огню глиняную

трубку с медной крышечкой. — Вот эту шубу ношу я с тех пор, а зимою мне теперь с ней делать нечего. Таскаю ее на плечах только для важности. Да, могу вам доложить, капитан Некулай и конюший Ионицэ, ведь и лето тоже тогда было щедрее. И по городам не было всех этих пришельцев, что пооткрывали новые лавчонки, а по селам нас, коробейников, все тогда привечали, как лучших друзей. Теперь же клони голову пониже да с товаром тащись повыше — в горы. Только там и есть места, где люди не видали еще ярмарок, а девки так и цветут от радости, когда раскроешь короба. Раньше и в бога-то по другому верили. Ходили купцы в Ерусалим, и нисходила на них благодать. Даже я сподобился пешком пройти до Святой горы. Видел я там скит на самой вершине — православных монахов поднимали туда и спускали оттуда воротом в плетеной корзине, потому что никакой дороги там нету. А у нас, в Яссах, был господарев двор, и порядки были там совсем не нынешние. Вот выезжает господарь из дворца, — черный аргамак под ним пляшет, кругом телохранители, а простой народ падает ниц: спину кверху, лицо в пыль. Хотел тебя боярин пожаловать, так не крейцер давал, а целый золотой. Был я в ту пору молод, и радостно было

мне жить, не то что теперь. Забот я не знал, мошна за поясом никогда у меня не пустовала. Но вот однажды, когда собирал я короба, чтобы идти на ярмарку в Байя, в горы, случился в нашем городе Яссах большой переполох.

Попрошу вас только подождать немножко, пока набью трубку табачком, потому что, кроме всего прочего, грешу я и этим перед господом богом. И прочищу чубук, потому что у сатаны только и дела, что чубуки забивать, — возблагодарим же владыку небес, земли и моря, что смилостивился он и научил нас смастерить шило. Так вот, надо вам сказать, стоял я как-то на улице у караван-сарая и рядился с двумя купцами армянами, как вдруг со стороны Бейлика показался с великим шумом отряд арнаутов, а среди них какой-то связанный человек. Народ за ними так и валит, и все больше женщины да ребятишки. Выскочили собаки из подворотен и из-под купеческих навесов, — вой, лай. Купцы, оставив свои прилавки, сбились в кучу, борода к бороде, глаза пялят, расспрашивают. Все арнауты шли с кинжалами и ружьями наготове, словно боялись, как бы связанный человек не порвал путы и не повалил бы их наземь голыми руками. Пленник и вправду был человек высокий и, ви-

дать, сильный: в поясе тонкий, а в плечах косая сажень. Усы у него русые, глаза черные и взгляд неукротимый. Была на нем расшитая куртка и красные сапоги с раструбами, как у справного рэзеша. Голова непокрыта, и губы в кровь разбиты.

Был там среди арнаутов один — Костя Кэрунту его звали, служил он в аджии{26}. Когда проходил он мимо купцов, повернулся гордо к связанному и снова ударил его по зубам. Я спросил:

— Господин Костя, что это за человек и как зовут его?

— Это злодей и негодяй, — ответил Костя.

— Прошу прощения, а зовут-то его как, в чем виноват он?

— Это безумный и презренный рэзеш из уезда Васлуй. Зовут его Тодирицэ Катанэ. Состоял он на службе у его светлости ворника Бобейкэ и набрался такого бесстыдства, что поднял глаза на сестру его светлости. И вот дерзнул он сговориться с сестрой его светлости, боярышней Варварой, чтобы с ней вместе этой ночью бежать. Но его светлость почуял неладное и выставил стражу. Она-то и настигла их и схватила у ветряной мельницы. Ну, там настоящее сражение разыгралось. Никак он

{26} Комментарии: 26

Аджия — полицейское управление в Дунайских княжествах *(турецк.).*

не давался в руки. Сколько цыган и слуг боярских настигло его, всех он избил и одолел. Пока не окружили его государевы арнауты с кинжалами, никак нельзя было с ним справиться. А он только орал, что за боярышню Варвару и жизнь готов положить. Потом, как видите, связали мы его и по зубам дали как полагается — хоть выплевывай их вместе с языком. Пусть знает, подлая душа, как за такую дерзость наказывают.

— Так ему и надо, господин Костя, — сказал я, и все остальные купцы поддакнули. Но когда говорили мы так, этот лиходей, Тодирицэ Катанэ, повернулся и прямо на нас глаза вытаращил. Человек он был красивый и, видно по всему, смелый. Мне даже страшновато стало от его взгляда. Но я подумал, что все равно ему петли не миновать, страх мой прошел, и я ухмыльнулся ему в лицо. А потом снова заговорил с господаревым слугою:

— Господин Костя, за твои заслуги его светлость ворник Бобейкэ может тебе пожаловать даже именье. Будь добр, повремени малость, задержи еще арнаутов с этим злодеем и скажи нам, что сталось с боярышней Варварой, сестрой его светлости.

— Боярышню Варвару отправляет боярин в

монастырь Агапии, как это по закону положено, замаливать там грех молодости. Он уже снарядил повозку и слуг. А этого безумного рэзеша я веду, чтоб запереть его в башне Голия, там он будет дожидаться решенья господаря. Конец свой найдет он на плахе, это понятно каждому человеку с головой.

— Уж конечно так, — сказал я с уверенностью. И все торговцы на улице склонили бороды, показывая, что они тоже так по справедливости считают.

За отрядом арнаутов, словно за цыганским табором, повалило все предместье: собаки, бабы, дети; пыль столбом поднялась, а Костя Кэрунту все угощал рэзеша тумаками то по скуле, то по затылку. Вот так они и отвели его и заперли в башне Голия, пока я рядился с армянами. Закончив торг и заплатив чеканной золотой монетой, взвалил я тюк с товарами на спину и отправился домой, где уложил его в коробки: товар-то ведь деликатный и тонкий, все больше для девичьих глаз и сердца. Разложил я товар покрасивее, поставил одну коробку на другую и начистил, как всегда, до блеска медные застежки, вот как и сейчас вы их видите. Улегся я и заснул крепким сном, пока не пропели третьи петухи, потом встал, собрался, взвалил

короб на спину, захватил дубинку и трубку и отправился из дому в тот час, когда почка с днем милуется. Дошел я до улицы Голия — слышу шум неистовый. А из железных ворот монастыря вылетают всадники со всклокоченными волосами.

— Господи боже! Что тут такое, люди добрые? Что случилось, честной народ?

Костя, без шапки, размахивает арапником, подгоняет арнаутов:

— Гони, ребята! Он не иначе как к колодцу Пэкурару удрал! Смотрите. Только бы не упустить! Как нагоните его, приколите и волоките прямо ко мне.

— Господин Костя, — отозвался тогда один старый арнаут, — кто ж его знает, по какой дороге подался этот черт. Пока он связанный лежал, над ним наша власть была, а теперь, когда он свободен, да в руках у него оружие, да еще на коне он, не найдется такой молодец, чтобы настичь его и расправиться с ним.

— Что ты мелешь, старик?! — заорал господарев слуга.

— Ты не серчай, правду ведь говорю, господин Костя. Мы-то давно его знаем по его другим делам. Этот злодей еще в немецком войске служил и на немцев страху нагонял. Бывал он и в настоящих

сражениях, а на теле у него рубцы от пуль и сабель. А лошадь его, бывало, мчится вскачь, а он во весь рост становится и стоит, как свеча, на седле. Ведь он одной рукой мешок с ячменем подымает. Головой как тараном бьет, а кого ударит — тот сразу наземь и дух вон. Зная, что это за лихой человек, связал его крепко-накрепко, бросил на пол, да и дверь еще подпер хорошенько. Лишь такой безумец, как он, мог перегрызть веревку, привязать ее к решетке, протиснуться в окно и спуститься с башни. Бросился он на стражника, отобрал ятаган и пистолеты, нашел где-то коня и ускакал. Где теперь искать его, господин Костя, и что с ним поделаешь?

Но Костя Кэрунту разбушевался, метался туда и сюда и рычал, словно лев, так что арнауты помчались за беглецом во все стороны, даже не оседлав коней. Видя, что все пустились в погоню, господарев слуга немного успокоился и только отдувался, словно воздуха ему не хватало или чем-то дурно пахло. Своему слуге, что стоял рядом с ним, приказал он принести оружие и оседлать лошадь.

Тут я решился — подошел к нему и спросил с великим удивлением:

— Господин Костя, никак я в толк не возьму, как

это могло случиться, ведь в крепости Голия такие высокие стены и такая башня? Да кроме стен и башен, есть там еще ружья, цепи и стражники. А этот злодей, что дерзнул опозорить честный боярский дом, сумел так легко убежать.

— Хоть спрашивай, хоть не спрашивай, Енаке, ответить я тебе не могу! — снова фыркнул Костя. — Теперь вся вина на меня свалится, а его светлость ворник Бобейкэ будет смотреть на меня косо. Теперь и служба моя и удача — все пошло прахом. Зашел бы в святой монастырь — заплатить отцу Никанору, чтобы отслужил он молебен во спасение от злой напасти, — да времени терять нельзя, иначе настигнет меня боярский гнев и арапник. Надо мне поторапливаться разбойника поймать да скорее возвращаться: приказ получил — как солнце взойдет, отправить в дорогу боярышню Варвару. Я вместе с другими слугами должен сопровождать ее до самого монастыря Агапии. По дороге, глядишь, еще какая-нибудь беда стрясется, не знаю, право, что и делать. Сердце мое, Енаке, словно раскаленное железо на наковальне, чует, что молот ударит по нему.

— И чего тебе, сударь, так тревожиться? — попробовал я его успокоить. — Злодея поймаешь, боярышню отвезешь в святой монастырь, а

господарь да боярин успокоятся и за верность отблагодарят тебя.

Оставил я его в большом волнении около башни Голия, а сам стал спускаться в долину по дороге Пэкурару, чтобы солнце уже не застало меня в городе. Вот иду я и думаю о том, что авось и на этот раз власти одолеют смутьяна. На окраине города повстречались мне господаревы солдаты — возвращались они назад на взмыленных лошадях шажком. Были они сердиты и глядели хмуро. Не нашли они, не поймали рэзеша. Тут-то и смекнул я, почему Костя Кэрунту погнал солдат в эту сторону: ведь по этой дороге должна была ехать в монастырь коляска боярышни Варвары. А такой отчаянный молодец, как Тодирицэ Катанэ, непременно должен был попытаться отбить боярышню по дороге. Понял я, что этого-то и боится больше всего господин Костя.

Вот прошел я уже немалый путь. Когда солнышко поднялось и короб стал мне тяжел, я остановился у колодца отдохнуть и утолить жажду. Так и сидел я на солнцепеке, поджидая честного попутчика, который посадил бы меня с собой в телегу на сено. Как и раньше бывало, господь бог пришел мне на помощь — показался на дороге человек в телеге. Остановился он у колод-

ца напоить лошадей, я сказал доброе слово, и он мне ответил по-дружески. Уложил я как следует короб, сам сел на сено, и поехали мы через села и пустоши до самого Тыргу-Фрумос. Там человек повернул телегу в другую сторону, а я с коробом за плечами вошел в лес Струнга и шел так по холодку, пока солнце не спустилось в Серет и на востоке не взошла луна.

Тут я снова снял с плеч короб возле другого колодца и ждал, пока бог не послал мне проезжих с другой стороны. Показалась легкая бричка, которую мчали две быстрых лошадки. Человек остановил коней и спросил меня:

— Откуда идешь, православный?

— Из самого города Яссы, хозяин. Великое одолженье ты сделаешь, если облегчишь мне путь, ведь я коробейник, людям друг, никому зла не делаю.

— Коли из Ясс идешь, так садись рядом, да поскорее… — сказал тот человек.

Сел я рядом с ним, и мы мигом переехали через Серет. У деревянного моста лунный свет в воде отражается, совсем светло стало. Повернулся я к спутнику, чтобы сказать ему спасибо и добрым словом отплатить, да сразу же понял, что рядом со мной Тодирицэ-рэзеш, — узнал я его.

Он осклабился, блеснул зубами, и я испугался — а что, если он меня тоже узнал!

— Ты тот купец, — сказал он, — что вчера ухмылялся у караван-сарая.

— Я улыбался, — отвечаю ему, — потому, что мне понравилось твое лицо. Не серчай, я человек бедный, беззащитный.

— Ты овца из стада, — отрезал он. — А пасет тебя волк. Вот какой ты.

— Ладно, такой. Только не гневайся на меня.

Снова он засмеялся. Потом лихо засвистел, и лошади, почуя власть хозяина, припустили во весь дух по дороге.

Тодирицэ снова обернулся ко мне:

— Что слышно в Яссах?

— Да что слыхать? — говорю. — Знаю, не скажи я тебе правду, снесешь с меня голову. Костя Кэрунту, с господарева двора, послал за тобой в погоню множество солдат. А сам он везет боярышню Варвару в монастырь Агапии. Выехал, думается мне, после завтрака.

— Это хорошо, — пробормотал рэзеш.

— Так-то так, — говорю я снова. — Только знай: известно ему, что ты тоже эту дорогу выбрал, и потому взял он с собой много людей, и должен ты их бояться, ведь ты один…

А рэзеш опять смеется.

— Послушай, человече, — говорит, — я могу сложить голову, но бояться я не боюсь. А теперь слушай мои слова и выполни все по моему приказу. Сейчас мы еще немного проедем по дороге, до места, что зовется постоялым двором Анкуцы. Там я хочу остановиться и дожидаться господина Кости со всем его войском. Когда он приедет, я буду близко, да он не найдет меня и не увидит. Я буду рядом с вами и глаз не спущу с вас. И все, что ты ему скажешь, я услышу. Он станет расспрашивать, а ты отвечай, что поехал я вперед по дороге в Тимишешть и бежал от него в великом страхе… Скажи ему по правде, что видел ты меня и узнал, не как-нибудь иначе — не то, смотри, мы с тобой можем еще встретиться в этой жизни и на этом свете.

На такие его слова склонил я голову и смиренно обещал все выполнить, а про себя подумал, что, может, и вправду злодей боится и бежит от господаревой руки. Но от гнева великих мира сего никто не убежит.

Вот так-то, благородный капитан Некулай и конюший Ионицэ, желая злодею наказанья, а людям покоя, доехал я в скором времени до этого места, до постоялого двора прежней Анкуцы.

Постоялый двор был заперт, все словно вымерло, только луна светила.

Катанэ стучит в ворота, просыпаются злые собаки, слышится изнутри голос Анкуцы.

Рэзеш кричит:

— Леле Анкуца, приехал я за советом и дружбой твоей. Я Тодирицэ Катанэ, и если ты меня не помнишь, то узнаешь сейчас про мои беды.

Анкуца сразу же замолчала, потом ласково сказала что-то собакам, отодвинула засов и отомкнула железные замки. Открыла она дверь, посветила нам по очереди в лицо восковой свечкой и сказала Катанэ:

— Входи. Ты и есть тот самый безумный рэзеш. Слышала я нынче, что ты натворил в Яссах.

Тут Тодирицэ Катанэ выпрямился и посмотрел на нее.

Прежняя Анкуца была такая же красавица, как и нынешняя. Смотрит она на него большими глазами, а в глазах ее два огонька светятся. Долго глядел на нее рэзеш, а потом бросил на лавку пистолеты с ятаганом. Повернулся он и взял Анкуцу за правую руку, что была свободна. Засмеялась Анкуца.

— Погоди, поставлю свечу в сторону и ворота закрою, — сказала она, — а потом говори, что

хочешь сказать. Я знаю, рехнулся ты, раз против власти пошел, да, видно, и совсем ты без рассудка, коли боярскую дочку полюбил. Опасная это любовь. Еще известно мне, что больших дел натворил ты в Яссах у башни Голия. С ног сбились теперь господаревы арнауты и стражники, ищут тебя по всем дорогам. Найдут они тебя и прикончат.

— Леле Анкуца, — ответил Тодирицэ Катанэ, — уж если мне на роду написано умереть — я умру. За любовь свою отдам я и жизнь и молодость. Знай же, что этой ночью, может, через час, а может, через два, и вправду нагрянут сюда к твоим воротам господаревы солдаты. С ними будет Костя Кэрунту, дорогая Анкуца, везет он боярышню Варвару в пустынь, в монастырь Агапии. А я хочу попытаться вырвать у них из рук мою любовь: либо отобью, либо костьми лягу.

Тут-то, при этих словах, вижу я, испугалась Анкуца. Закрыла она глаза, сжала ладонями щеки и крикнула тоненьким голоском.

— Безумец ты, Тодирицэ Катанэ, правду люди говорят!

Только сразу же после этого придвинулась она вплотную к нему и стала второпях расспрашивать, как он думает исполнить то, что задумал.

Отошли они в другой угол комнаты, к печке, стали перешептываться, и, как показалось мне, все больше Анкуца говорила, с жаром и страстью.

Как кончили они разговаривать, подошел Тодирицэ Катанэ и стал против меня, стоит и смотрит, нахмурив брови. И такие были у него глаза, что и хотел бы я свой взгляд отвести, да не мог. И сказать ничего не посмел я ему. Понял я, что повенчался он со смертью, а такого человека надо мне опасаться.

— Иди, а то опоздаешь, — сказала ему Анкуца, когда брал он оружие.

Положила она ему руку на плечо и тотчас же сняла. И только ее рука прикоснулась к Катанэ, как он обернулся, обнял Анкуцу и поцеловал.

— Вот проснется мой муж да увидит тебя, — сказала она, смеясь, — он хоть и старик, а рассердиться может...

Потом застыла она неподвижно у двери, слушая, как рэзеш говорил с лошадьми, как тронул их и поехал. Стук колес постепенно затих в отдаленье, а она стояла и прислушивалась.

Я же сидел, сгорбившись, около своих коробов и ничего не понимал. Каким тайным ветром разносятся вести так быстро из Ясс по всему свету? И как это могут сойтись и так понять друг друга два

чужих человека? Поднял я взгляд: Анкуца сидит на лавке, и огоньки играют в ее глазах, смотрит она на меня и не видит. Словно все еще прислушивается и ничего не замечает. Так и сидели мы, пока не раздался шум на дороге: с громкими криками и хлопаньем бичей остановилась перед домом погоня из Ясс. И сейчас же услышал я, как орет господин Костя Кэрунту, а хозяйка постоялого двора встала, отперла дверь и подняла свечу над головой. Потом, словно вспомнила и про меня, кивнула слегка головой и шепнула мне через плечо:

— А ты, коробейник, знаешь, что тебе нужно говорить.

Ввалились господаревы слуги и потребовали себе вина. Но господин Костя преградил им дорогу, разбранил их и выпроводил к лошадям и повозке. Там, при свете луны, увидел я: сидит под полостью боярышня Варвара; голову опустила, лицо в колени уткнула. Она была словно тень и, верно, все время плакала.

Господин Костя, громыхая саблей по полу, подошел ко мне и узнал меня.

— Как это, Енаке, — говорит он, — ты так быстро попал сюда? Говори, не узнал ли чего по дороге о негодяе, которого мы ищем.

— Господин Костя, — говорю, — узнал я о Тодирицэ Катана, которого ты ищешь, и даже видел его…

— Как так, Енаке? — закричал господарев слуга; а Анкуца повернулась ко мне и глаз с меня не сводит.

— Видел, — прибавила и она. — Он проезжал тут.

— Ну да, он проезжал мимо, — подтвердил я, — и приметно было, что он в превеликом страхе свернул к броду на Тимишешть…

Снаружи слышались крики солдат, и мне показалось, что господин Костя обрадовался.

— От нас он не уйдет! — заорал он во всю глотку…

А Анкуца улыбается и говорит ласково:

— Слыхать, собрал он товарищей — других душегубов и безумцев — и хочет отбить добро, что вы в повозке везете.

— Что? Как? — закричал в гневе господарев человек. — Башку ему конем растопчу!

— Молдова разлилась после дождей, — снова говорит хозяйка, — бродом в Тимишешть теперь трудно пройти.

— Как так? И другой дороги нет?

— Есть дорога через Тупилаць. На пароме пе-

реправитесь.

— Тогда мои люди поскачут за ним и настигнут его там, в Тимишешть, а я перевезу повозку с боярским товаром на пароме. Сразу сделаем два добрых дела — и хозяева довольны будут, и мы от беды убережемся…

Господаревы люди пробыли здесь с четверть часа, и все это время водила меня Анкуца за собой в погреб, и носили мы при лунном свете кувшины с вином. Люди выпили, подняли галдеж, стали куражиться, поклялись, что убьют подлого беглеца, ускакали вперед по шляху. А господин Костя с несколькими слугами повезли повозку в другую сторону, чтобы выйти к парому у Тупилаць. Анкуца провела их кратчайшей дорогой, а меня все время держала подле себя. Как добрались мы до берега, господин Костя заорал во всю глотку — зовет паромщика. Вылез откуда-то старик, глухой, косматый, волосы на глаза лезут.

— Перевези нас на ту сторону! — закричал на него Кэрунту и саблей на другой берег показывает.

— Перевезу вас, бояре, — бормочет старик, заикаясь со страху. — Только вода-то поднялась, тяжело перевезти зараз столько народу, и лошадей, и повозку, да еще ночью…

— Ничего, дедушка Быра, — завизжала ему на ухо Анкуца. — Перевезешь по очереди. Сначала старшего ихнего и вот боярышню, что в повозке. За ними лошади переедут, а потом остальные. Я, господин Костя, не мешаю, так только, слово сказала. Все будет исполнено, как ты прикажешь.

— Веди паром как следует и, смотри у меня, по сторонам не зевай — повернулся господин Костя к старику. — Перевезешь сначала меня и сестру его светлости ворника Бобейкэ. А не исполнишь все как следует — башку оторву, слышишь!

Старик втянул голову в плечи и потащился к лодкам. А господин Костя, ласково приговаривая, снял с повозки боярышню Варвару, хрупкую, дрожащую от страха. Шагнула она к парому, а тут Анкуца подошла к ней, наклонилась и заглянула ей в глаза. Ворот заскрипел, наматывая канат, и вода зарябила, стала переливаться чешуйками света. Паром тихо пристал к тому берегу и застыл неподвижно, в полной тишине. Не слышно было оттуда ни звука, ни шороха. Только Анкуца, видел я, прислушивалась напряженно, а лунный свет блестел в ее глазах. Так я стоял, смотрел на нее и ждал — а потом отвернулся в страхе. Никто не уразумел, что там случилось, хотя потом долго кричали и звали и Анкуца, и все наши. Уж потом,

на заре, крестьяне из Тупилаць снова перегнали паром на этот берег. В одной лодке мы нашли связанного старика. А в другой лодке — господина Костю, до крови затянутого веревкой, с просмоленным кляпом во рту. Когда освободили мы его от пут и вытащили кляп, закачался он из стороны в сторону, словно пьяный, и выплюнул на песок передние зубы вместе со сгустками крови. Уж так он был слаб, что пришлось людям уложить его на телегу, чтобы везти обратно. Очень я дивился этому происшествию и понял, что Анкуца, когда она глядела на луну, слышала все, что делалось на том берегу. А я так и не узнал, что там случилось, и господин Костя никогда не рассказывал. Не думаю, чтоб это было колдовство Анкуцы, хотя она и слышала все.

Верней всего, злодей этот, Тодирицэ Катанэ, подстерег там и искалечил господарева человека. Советоваться-то они советовались с Анкуцей там, около печи, да только не под силу женщине замыслить такое. От Анкуцы узнал я потом, что будто бы укрылся этот негодяй с боярышней Варварой на венгерской земле. Тогда я снова подумал, что все это с ее ведома сталось.

И долго капитан Некулай и конюший Ионицэ все думали с грустью о тех бесчинствах, что слу-

чились в городе Яссах и на берегу Молдовы.

Суд обездоленных

Большой неуклюжий человек поднялся с кожуха, брошенного возле тележного дышла, и вразвалку подошел к костру.

Уже по одному тому, как он медленно передвигал ноги, словно сгребая ими траву, в нем сразу можно было узнать чабана. Об этом свидетельствовали и его сермяга, и шапка из цельной овечьей шкуры, и широкий блестящий пояс, и в особенности рубаха, задубевшая от стирки в молочной сыворотке. В руках у него был длинный посох, который он держал за самый конец. Маленькие глазки едва виднелись из-под нависшего лба и густых бровей. Курчавые длинные волосы были смазаны маслом, а подбородок выскоблен обломком косы.

— Все я выслушал, и все это были занятные истории, — заговорил он густым басом. — Теперь одного мне хочется: узнать историю вон того — высокого, сухопарого путника.

После таких слов, обращенных к конюшему, всем стало ясно, что человек этот явился из глухих краев.

До этой минуты мы его даже не замечали; а он-то все время сидел рядом с нами и молчал. Молча прихлебывал вино, и вот теперь у него развязался язык, и ему захотелось повеселиться. Левой рукой он швырнул кружку прямо через пламя костра. Посудина зазвенела в темноте и разбилась в груде черепков, окончив свою жизнь.

— Теперь уж эта кружка не отведает больше вина! — ухмыляясь, снова заговорил чабан. — И мы с ней встретимся не раньше, чем я сам рассыплюсь прахом. Ну, тем, кто меня не знает, я скажу: живу я далеко, на Рарэу{27}, и есть там у нас с товарищами овчарня и землянки, полные кадок с творогом и кислым молоком, да другие землянки, с попонами и кожухами. А зовут меня Константин Моцок. Хотите знать больше, так скажу вам, что иду я в село на берегу Серета разыскивать, осталась ли еще у меня на свете кровная родня — сестра, которую я не видел с молодых лет. Коли она умерла, вернусь обратно, к овцам и товарищам, к своей печали, — туда, на самую макушку горы, где ветер никогда не знает покоя, словно дума человеческая.

А смеялся я потому, что вспомнил одного своего

{27} Комментарии: 27
Рарэу — гора в Карпатах.

приятеля. Так вот, он наказывал мне, коль попаду на постоялый двор Анкуцы, чтобы выпил я там кружку вина, а за ней другую — и так до тех пор, пока в глазах не помутится, и тогда я уж никому не смогу рассказать, что когда-то с ним случилось в этих местах. Мне-то он говорил, как он настрадался, да ведь я столько выпил, да еще из этакой посудины, что уже теперь и не вспомню толком тот случай.

— Какой случай? — спросил, по своему обыкновению, конюший Иониц э.

— Да уж такой случай, почтенный, такое происшествие было с человеком, который для меня все равно что брат. Эй, музыканты, подыграйте-ка мне на струнах удалую песню разбойника Василе, прозванного Великим. А потом, коли люди того захотят, расскажу им, как было, а не захотят — помолчу.

И неожиданно он запел, как-то в нос, тонким голосом — совсем не под стать его огромному телу.

— Эй, слушайте!

Тот, кто молод и удал,
Выйдет с тем, что бог послал,
На тропинку между скал.
Не с арканом, не с ружьем,

Выйдет просто с кулаком…

Я слушал, как тоненько выводит он слова, и меня разбирал смех. Мне было весело, я не против того, когда человек под хмельком. Чабан замолк и усмехнулся, скорее злобно, чем добродушно.

— А теперь пусть эти вороны замолчат, — сказал он громким басом, — и спрячут свои скрипки под крылья. Хочу поведать вам, ежели желаете, историю, о которой только что поминал. И я не я буду, если она не придется вам по душе.

Он вгляделся во тьму постоялого двора, поправил под мышкой посох, на который опирался по пастушьей привычке, потом повернулся к нам, насупился и обвел всех невидящим взором — казалось, весь он ушел в далекое прошлое.

Из нас один только конюший Ионицэ смотрел на него нетерпеливо и презрительно. Помилуйте, мол, вдруг ни с того ни с сего его заставил замолчать самый обыкновенный простолюдин, а ведь его чести самому хотелось рассказать о великих событиях.

Но чабану не было стыдно, да и где уж ему взять такие тонкости обращения!

— Что это я хотел сказать? — спросил он нас, улыбаясь как бы издалека, из своего одиночества. — По правде говоря, чем рассказывать,

лучше бы я на дудке сыграл — только не умею. Значит, приходится говорить, уж как выйдет. Жил этот мой приятель в селе Фьербинць на Серете, а владел селом в те времена боярин, известный богатей, по имени Рэдукан Кривой. Боярин был человек пожилой и вдовец. Нет-нет да и приглянется ему какая-нибудь крестьянская женка, и мы, бывало, сами над этим лишь посмеивались да пошучивали. А вот как стряслась такая штука с самим приятелем этим, тут уж стало ему не до смеха. Дошло до него через каких-то кумушек, что его Илинку тоже позвал боярин к себе домой.

— Да может ли этакое статься? — вскипел мой приятель.

— А вот и может! И вернулась она домой с новой шалью, красной, как огонь.

Тогда этот мой приятель ощетинился, словно бешеная собака. Оставил он свои сани с мешками на дороге возле корчмы, швырнул на рога волам кнут и схватил топор. Глаза ему будто кровавый туман застлал. Бросился он домой, вышиб плечом дверь, схватил жену за горло и закричал на нее:

— Где была? Говори сейчас же, где была, а то топором искрошу!

— Нигде я не была, человече! Что с тобой стряслось? Спятил ты, что ли?

— Сказывай, куда ходила, не то зарублю! Где красная шаль?

— Какая еще шаль? Видать, ты выпил да заснул в санях, вот тебе и привиделось!

Он на нее кричит, а она отпирается, рвется от него, руками отмахивается и клянется без умолку. Схватил ее муж за косы и ну колошматить головой об угол печи. Да так ничего от нее и не добился.

— Режь меня, убивай, ни в чем я не виновата!

А приятель мой уж и бить ее устал. Опустились руки. Поглядел он, как жена плачет, и стало ему тяжко.

— Ой, Илинка, — говорит он, — будь она проклята, наша несчастная жизнь! Ведь мы только четыре года как поженились. Когда женились, деревья цвели возле нашего дома, а нынче цветы их осыпались и сердце мое льдом покрылось. А уж как я тебя любил и верил тебе, да вижу, что горько обманулся.

Тогда жена поклялась светом очей своих и могилой матери, что ума не приложит, о чем речь идет. Вытерла свой рот, разбитый в кровь, поцеловала мужа, успокоила его и послала за санями с волами. А только он ушел, накинула она на голову красную шаль, вышла садом в проулок

— и прямехонько на боярский двор.

Подъехал парень на санях к амбару, снес туда мешки, а потом тоже пошел на боярский двор, чтобы приказчик записал все в свою книгу. Да вместо приказчика на крыльцо вышел сам боярин. Поманил этак моего приятеля пальцем, посмеивается и цедит сквозь зубы:

— А ну подойди-ка сюда, хозяин.

— Сейчас иду! Чего изволите, барин?

— Ах ты нехристь, — говорит помещик. — Что у тебя с женой? За что ты ее бьешь и истязаешь?

Приятель мой даже сразу в толк не взял его слов:

— Ничего не было, барин. Не пойму, откуда ваша милость про это знает и мешается промеж мужа и жены?

Не успел он договорить, как Кривой Рэдукан — раз ему кулаком в зубы!

Приятель мой только зажмурился, сначала ему невдомек было, а когда открыл глаза и увидел в окне Илинку в красной шали, все понял. Заревел он зверем, и таково ему стало, что хоть в колодец головой. Только не тут-то было! Схватил боярин арапник, что висел за дверью в сенях, и огрел беднягу по шее да еще концом резанул по глазам, будто огнем ожег. Мечется приятель

мой то вправо, то влево, захлебывается кровью, наконец кое-как вывернулся и скатился с лестницы, бежать хочет, да внизу его боярские холопы схватили.

Отбился он от них кулаками и с воем кинулся на хозяина. А Рэдукан Кривой снова как обожжет его хлыстом, да еще подмаргивает с насмешкой здоровым глазом:

— Не пускайте его, ребята, — говорит, — видите, бешеный! Чуть жену свою не убил.

Слуги набросились на него и схватили. Колотили они его, пока сами из сил не выбились, а потом отпустили.

После того он три дня провалялся больной; всю скамью от злости изгрыз, а потом поднялся и перелез ночью через забор во двор к боярину, чтобы жену разыскать. Долго подстерегал он ее возле людской — и все же дождался. Зарычал он от ярости и кинулся на нее, готовый разодрать ей глотку ногтями. Услыхал боярин из дома крик и вышел с кинжалом.

Рассвирепел Рэдукан Кривой, увидев такую дерзость, — ведь он-то хозяин! — и приказал слугам схватить моего приятеля и расправиться с ним за все как положено. Перво-наперво связали они ему руки за спиной и рот заткнули, чтобы

не кричал. Да на всю ночь и привязали за шею к плетню, втиснув голову между кольями. Его рвали собаки, а под утро больно искусал крещенский мороз. Даже не пойму, как это он не помер.

Когда рассвело, боярин Рэдукан увидел, что парень все еще смотрит на него волком, приказал снять его с плетня и гнать арапником до самой мельницы. Там слуги его разули, завернув ему до колен порты, и сунули ногами в воду — пускай, мол, почувствует ее ледяные зубы, чтобы впредь не смел он бунтовать и грозить честному боярину.

Много еще пришлось моему приятелю вытерпеть, — прошел он через все муки, как тогда при боярских дворах заведено было. Бросили его в землянку поближе к огню — пусть поджарится. А чтобы не сбежал, забили ему ноги в колодки с пудовым замком. Дым из землянки не выпускали, да еще на уголья насыпали молотого перцу. Лежал он там, кашлял, кровью харкал, только господь бог захотел, чтобы он не погиб, а уже на этом свете настрадался, словно в геенне огненной.

Дело это, добрые люди, случилось лет тридцать тому назад. Но приятель мой не покорился, хоть, может, так к лучшему было бы. Долго оставался он калекой, и злость кипела в его сердце, а когда

он сил набрался, бежал из села. Перешел он реку Молдову, перешел Бистрицу и поднялся на высокие горы под Рарэу.

Там, в горах, под елями, сидел он, глядел перед собой, как безумный, и снова видел то, что с ним случилось. Видел он все в пламени и крови, а сердце ему рвали стальные когти. Покинули его силы, стонал он только да корчился. Много лет пробыл он в работниках у чабанов, пока не пообвыкся в тех пустынных местах и не обзавелся овцами и баранами.

И вот однажды весенним вечером услышал мой приятель голос Василе Великого, как тот распевал в лесах песню, которую нынче спел вам я.

Когда Василе подошел к хижине, приятель мой сразу понял, что человек этот ушел от людей и скрывается в пустынных местах.

Стоял перед ним Василе, статный и гордый, брови насупил, и встретил его мой приятель ласково, потому что песня пришлась ему по душе. А когда узнал, что это Василе, еще пуще обрадовался, потому что по всему краю знали его имя и все трепетало перед ним там, в долинах. В те времена Василе Великий грабил на дорогах и переправах и собирал большую пошлину.

— Пожалуй, брат Василе, к моему костру, — ска-

зал мой приятель. — Слыхал я о тебе и приму с радостью. Угощу чем бог послал и твоему гнедому подброшу доброго сенца. Найдется и попона — сделать тебе мягкую постель на ночь.

Обрадовался и гайдук. Он остался в хижине, и оба вскоре стали добрыми друзьями.

Все рассказал про себя Василе, а приятель мой поведал ему, что вышло у него с женой и боярином.

Услыхав его рассказ, Василе разгневался; сорвал шапку с головы и ударил ею оземь.

— Ну, — сказал он, — после этой твоей истории не зовись ты больше моим другом. Потому что вскормлен ты зайчихой и остался навсегда трусом!

— А что же мне было делать, брат Василе? — спросил бедняга.

— Я тебя научу, приятель.

Так сказал Василе и тут же у костра за кувшином черничной водки подал ему добрый совет.

— Вот что, парень, — сказал гайдук, — знай, что верности у женщин не найдешь. С тех пор как я стал гайдуком, я узнал им цену. Из-за такой, как твоя, ранили меня однажды стражники в левую ногу, и, как видишь, с тех пор я на нее припадаю. Что ж, коли бог создал женщину изменчивой,

как вода, и слабой, как цветы, то хоть я браню ее, но прощаю ей. Зато никогда уж не забываю отомстить тому, кто меня не пожалел, кто глумился надо мной. Сделай и ты так, а не то задушит тебя ядовитая злоба, которой ты полон.

— Правда твоя, душит меня злоба! — вскричал мой приятель. — Буду я тебе слугой, брат Василе. Только научи, как быть, чтобы стало мне легче!

Рассказывая это, чабан совсем разошелся и теперь, в отсветах огня, то и дело встряхивал головой и размахивал руками. Даже другим голосом заговорил, кричать начал, да так, словно он был один. Однако даже конюший Ионицэ слушал его так же внимательно, как и другие, — видимо, перестал на него обижаться.

— И вот, как я вам говорил, — воскликнул Константин Моцок, — научил Василе Великий того приятеля!

— Оставь на неделю овец на своих товарищей, — сказал он. — Оставь на чабанов и кадки с творогом, и собак. Возьми только лошадь да сунь в переметные сумы два круга сыра, чтоб нам было чего поесть. Поедем с тобой верхами, как два заправских купца, до Бистрицы и еще дальше, до Серета, чтобы и я мог повидать то село, где случилось все, о чем ты рассказываешь.

Говорит это гайдук и смеется, а приятель мой чувствует, как трепещет сердце его великой болью и великой надеждой.

Оставил он на товарищей свое добро, покинул луга и ели, прохладные ручьи и поляны, оседлал коня и спустился с гайдуком к людям на равнину.

Узнать их никто не узнал. Так и ехали они, совсем как два заправских купца, до самого Серета, до села Фьербинць, закусывали сыром да черствым хлебом и запивали водой из колодцев. В четверг утром, на святой праздник вознесенья, вышли они оба на дорогу, к церкви, как раз когда народ от обедни расходился.

Тут-то среди людей приятель мой и узнал Рэдукана Кривого. У него даже дыхание перехватило, да он сдержался.

— Друг Василе, — сказал он. — Вот он, хозяин мой, что так меня приголубил.

— Этот? — переспросил гайдук. — Ну, хорошо! — И, поднявшись на стременах, закричал грозным голосом: — Люди добрые, стойте!

Люди остановились.

— Православные, люди добрые, — еще громче крикнул Василе Великий, — стойте тихо и спокойно, потому что против вас я никакого зла не

имею. Я разбойник, Василе Великий. Имя мое вы знаете и о делах моих слышали. При нас пистолеты, и мы никого не боимся, да еще и другие мои товарищи стоят недалеко на страже.

Люди зашептались между собой и покорно подались в сторону. А боярин выпростал бороду из-под воротника шубы, и в здоровом его глазу вспыхнул смертельный испуг: видать, узнал он моего приятеля.

— Приехали мы сюда суд вершить по старому обычаю, — снова заговорил гайдук. — До самого страшного божьего суда не находим мы правды ни у исправников, ни у Дивана. Так будем сами, своими руками творить суд и расправу. За женщину мы тебя прощаем, светлейший боярин, но мы дрогли на морозе, с головой, втиснутой между кольями плетня, мы стояли по щиколотку в ледяной воде, наши ноги были забиты в колодки, глаза наши выедал дым от перца, и кашляли мы так, что душу выворачивало. Ты сек нас арапником, вырывал нам ногти. Ты отравил всю нашу жизнь, и каждый день мы вспоминаем об этом, не находя себе ни утешенья, ни избавления! Мы здесь, боярин, чтобы за все отплатить тебе сполна!

Рэдукан Кривой, уразумев, в чем дело, выпучил

глаз и заорал на своих прислужников и всех, кто тут был. Заметался он во все стороны, убежать хотел, но гайдук и мой приятель зажали его между своими лошадьми, повалили наземь, соскочили с седла и всадили в боярина ножи. Приятель мой стоял над ним до тех пор, пока не запенилась в пыли лужа крови. А когда боярин перестал хрипеть и испустил последний вздох, он пнул его ногой и перевернул лицом вверх, открытым глазом к небу. И никто из людей не сказал ни слова, все стояли в страхе, свидетелями на этом суде.

Вот как оно было. Оставили они возле мертвого, на помин души, свой кошель, а в нем восемь золотых, все, что у них имелось. А затем снова сели на коней и при весеннем солнышке в этот погожий день покинули они село и поехали тайными тропами, пока снова не поднялись к своему зеленому лесу.

Окончил чабан рассказывать и вздохнул над костром, словно хотел излить из души все остатки горечи. Посмотрел на нас угрюмо, увидел, что мы молчим, и засмеялся суровым смехом. Потом шагнул в сторону, к своему кожуху, и снова, как и прежде, погрузился в свою печаль, словно в горный туман, без радости и без света.

Купец с красным товаром

Наконец настал долгожданный час, когда мне предстояло великое удовольствие — выслушать рассказ уважаемого конюшего Ионицэ из Дрэгэнешть, как вдруг сквозь вечернюю мглу послышались крики и шум на Сучавской дороге. Все мы, сидевшие у костров, сразу повернули головы в одну и ту же сторону. И первым, кто отставил кружку и поднялся на ноги, был конюший.

— Это что там такое? — в недоумении обратился он к нам.

Мы сами не знали, что бы там могло быть, и ничего не ответили.

Конюший шагнул поближе к дороге. Из своей комнаты показалась с большим фонарем Анкуца. Она держала фонарь на высоте груди, и его свет румянил ей лицо. При этом розоватом свете глаза ее казались еще больше и чернее. Спустившись по ступенькам, она поспешила к дороге. Видно было над темной фигурой только ее освещенное лицо, словно плывущее в воздухе.

— Должно быть, это какие-нибудь возчики, друг Ионицэ, — предположил капитан Исак. — Будешь возвращаться на свое место, смотри не опрокинь

кружку, вино вещь хорошая, хоть и недорогая.

— Да, возчики, должно быть, — подтвердил рэзеш.

И впрямь, это были возчики. Послышались грубые голоса, останавливающие волов: ахо-ахо! И фонарь, блеснув в темноте, внезапно осветил повозки с поднятым верхом, словно появившиеся из-под земли. Люди, одетые в белое, двигались, то появляясь, то исчезая. Кто-то ласково воскликнул:

— Здравствуй, хозяюшка Анкуца!

— Добро пожаловать, — ответила хозяйка тем нежным голосом, к которому мы так привыкли. Подняв фонарь обеими руками над головой, она наклонилась, чтобы получше рассмотреть гостей. Тут показался при свете сальной свечи бородатый мужчина в шапке и в широком кафтане и пошел навстречу хозяйке. Округлая борода его была аккуратно подстрижена; полное, пухлое лицо дородного человека расплывалось в улыбке.

— По-моему, он купец, — решил капитан Некулай Исак.

Хозяйка узнала гостя, и голос ее ласково журчал то громче, то тише.

— Никак, это ты, господин Дэмиан? Уж тебе-то я особенно рада, — прошу под нашу крышу. При-

кажи возчикам, пусть переедут через мостик, да осторожней, чтобы не провалились. Пусть располагаются под навесом, — сам знаешь, там можно запереть ворота, словно в крепости, и ни о чем не беспокоиться, будь в тюках хоть золото.

— Нет у меня золота, хозяюшка дорогая, — рассмеялся купец.

— Знаю, господин Дэмиан: у тебя, наверно, подороже вещи, да и о них не беспокойся. У знакомых тебе ворот сидят, отдыхают у огня добрые люди, молодое вино пробуют. Зарезала я жирных цыплят и сегодня вынула из печи свежий хлеб. Все тебе будет по сердцу, я же знаю, что любишь ты хорошую компанию.

Тут возвысил голос рэзеш Ионицэ:

— Коли он такой человек, то мы с великим удовольствием освободим ему место и с радостью попросим к нашему огоньку.

— Это конюший Ионицэ из Дрэгэнешть, — проворковала Анкуца, словно голубка.

Купец поклонился конюшему и темным фигурам у огня.

— Это для меня большая честь, — проговорил он, — прошу считать меня вашим покорным слугой. Только сперва надо мне устроить товар и присмотреть, чтобы люди и волы были сыты. А

потом уж с превеликой радостью разделю с вами трапезу и выпью кружку молодого вина. Ибо, как в книгах пишется, вино смягчает сердце человека и укрепляет тело его.

Конюший повернулся к нашему костру и от чистого сердца сказал:

— Нравится мне этот купец.

— Твоя правда, уважаемый конюший, — подтвердил дед Леонте. — Если человек при первой же встрече так словоохотлив и весел — значит, нет в нем ни лукавства, ни скрытности. А особенно если бог сподобил его родиться под знаком Солнца, под созвездием Льва, то нет ему препятствий в достижении богатства и благоволения высших. Дела его достойны и приносят ему удачу, и хотя он будет гордо выступать в сапогах со скрипом, но сам всегда останется ласков и дружелюбен…

— Что ж, дед Леонте, вот мы и спросим его, под каким знаком Зодиака он родился, — весело решил конюший.

— Ежели воля твоей милости такова, чтобы спросить его, я не противлюсь… — согласился звездочет.

При свете фонаря Анкуцы возы и возчики перебрались через мостик. Мы насчитали три

огромных, тяжелых, скрипучих воза, покрытых дерюгой. Крестьяне подгоняли волов: гей-гей! Негромко хлопали веревочные бичи. Вот проехали возы и исчезли под черным навесом постоялого двора. Еще доносились неясные голоса, упало одно ярмо за другим, потом зазвенел тонкий веселый голосок хозяйки. После этого подошел к нам, шагая вразвалку, купец, высокий и толстый, в своем широком кафтане и в сапогах со скрипом.

— Желаю всем доброго вечера и благополучия! — сказал он.

— Спасибо твоей милости, — ответил ему конюший. — Присаживайся, почтенный господин Дэмиан.

— Зовут меня Дэмиан Кристишор, купец я, держу лавку в Яссах на главной улице.

— Вот и славно. Так что попрошу я тебя, почтенный господин Дэмиан, присаживайся сюда, на бревно, рядом со мной; при свете костра посмотрим мы на тебя, а ты на нас, чтобы лучше познакомиться. Вот этот мой старый и мудрый приятель дед Леонте, звездочет, говорит, почтенный господин Дэмиан, что родился ты под созвездием Льва, и нам очень хочется услышать, правда ли это.

Купец поморгал глазами, словно огонь ослепил

его, и с удивлением посмотрел вокруг.

— Правда, так оно и есть, — признался он. — По воле божьей, день рожденья моего — восемнадцатого июля.

— Будь добр, скажи нам еще, не под знаком ли Солнца был год, когда ты родился?

— Не смею скрывать, это так, — подтвердил изумленно почтенный купец. — Родился я в год от рождества Христова тысяча восемьсот четырнадцатый. Как и откуда могли вы все это узнать?

— Ты недаром удивляешься, приятель, — улыбнулся конюший, — а мы-то еще больше дивимся: ведь совсем не зная тебя, только тень твою увидав, поведал дед Леонте всю правду. И мало того — он сказал, что выйдешь ты к нам, скрипя сапогами, и так оно сразу и сбылось.

Увидев, что все мы широко раскрыли глаза, дед Леонте встал со своего места с кружкой в руке.

— Почтеннейший конюший, — сказал он твердо, — и ты, господин Дэмиан, удивление ваше передо мной будет много меньше, если я вам скажу, что только господь бог и книга, которую ношу я в сумке, просветили меня во всех моих предсказаниях. Ибо от бога и от этой мудрой книги ничто не укроется. Я, как человек, могу ошибиться. Книга же моя не ошибается. И гово-

рит книга, каков с виду человек, родившийся под таким-то знаком, под такой-то звездою, а я по виду человека узнаю, под какой планидой родила его мать. Открыв книгу, могу рассказать я и о многом другом: о супружеской жизни, о богатстве и чести, о здоровье и сроках жизни, но знание мое не может проникнуть повсюду. И мог бы я, почтенный господин Дэмиан, сказать еще, что понравится тебе вино и наша компания, но вот если б спросил ты меня, откуда едешь ты, из Львова или Лейпцига, с товарами из немецкой стороны, — этого я бы уже не мог сказать.

— Везу товар из Лейпцига, — охотно объяснил купец.

— Ну и хорошо. Будь здоров и дай тебе господь всякого прибытка. Осуши с нами кружку вина.

Перестав удивляться, господин Дэмиан Кристишор выпил за наше здоровье и показал себя веселым и дружелюбным человеком. Потом он получил от Анкуцы на глиняной тарелке жареного цыпленка и свежий хлеб. Не понадобилось много времени, чтобы увидеть в этом проезжем купце доброго товарища в тех занятиях, которым мы предавались.

Когда под навесом затихло всякое движение и возчики, завернувшись в кожухи, улеглись под

телегами между колес, купец, словно запрятав все заботы в глубокие карманы своего кафтана, разошелся вовсю и осушил новую кружку в честь капитана Некулая. Казалось, что больше всех понравился ему однодворец из Бэлэбэнешть.

— Если хочешь, капитан Некулай, — сказал он, — я расскажу тебе обо всем, что видел в чужих странах. Будучи приписанным, по воле всевышнего, к такому почтенному сословию, как мое, я мало-помалу вот уже несколько лет как достиг благополучия и даже некоторого богатства. И подумал я тогда, что настало время подняться мне своими силами еще выше, как это делали и другие бывалые купцы, и решил, что надо и мне поехать в Лейпциг. До этого ездил я по ярмаркам и скупал товары у немецких и еврейских купцов. Но потом я сообразил, что лучше мне самому получать их прибыток. И вот два года тому назад попробовал я съездить во Львов. И, вернувшись с прибылью, задумал я в нынешнем году отправиться еще дальше — в Лейпциг. Так вот, в день приснодевы Марии поставил я четыре больших свечи чистого воску перед образом святой Параскевы в храме Трех святителей. Заказал я отцу Мардаре прочитать на дорогу молитву от опасностей и болезней. Опустился и я на колени

перед гробом святой, моля ее о помощи. Обнял я Григорицэ, своего младшего брата, оставил его в лавке, а сам сел в повозку и отправился в Хушь. Там переехал я Прут и представил русским начальникам свои бумаги. Около Тигины на Днестре повстречался я с одним купцом, армянином, русским подданным, с которым еще раньше вел я дела. Посоветовавшись и сговорившись друг с другом, купили мы там же, в Тигине, пятьсот баранов — славный, добрый товар. Платили мы по рублю за голову. И сразу же, не мешкая, взяв четырех работников, погнали мы своих баранов вверх по Днестру. Безо всякой помехи перешли мы немецкую границу и направились в Черновицы. Оттуда во Львов. Во Львове погрузили наш товар на поезд, и через несколько дней достигли мы Страсбурга и продали там баранов по золотому за голову: перекупили их другие купцы, чтобы отправить в город, который зовется Париж.

— Гуртом или поездом? — спросил капитан Исак.

— Поездом, почтенный капитан. По этим странам — у немцев да и у французов — ездят теперь на поездах. Сегодня здесь, а завтра — бог знает где.

— Как это — поездом? — спросил кто-то серди-

тым басом.

Я повернулся и увидел пастуха с Рарэу. Смотрел он хмуро, исподлобья. По правде сказать, и я, и все остальные очень хотели узнать, что это за машина, о которой говорит купец. Только конюший и капитан Исак, казалось, знали, о чем идет речь. Но и они не прочь были выслушать объяснение, которого мы ожидали.

— Не знаете, что такое поезд? — спросил, смеясь, господин Дэмиан.

— Знаем, — неуверенно произнес конюший.

— А я не знаю! — упрямо сказал пастух. — Кто знает, что за немецкая мерзость может это быть!

— Настоящая мерзость и чертовщина… — добродушно расхохотался купец. — Это вроде домиков на колесах, а колеса катятся по железным брусьям. Так вот, по этим железным брусьям как ни в чем не бывало их тащит машина, и только диву даешься, как это она со свистом и пыхтеньем движется своей силою — огнем.

— Без лошадей? — спросил дед Леонте.

— Без.

— Этому я уж не поверю! — буркнул пастух. А дед Леонте перекрестился.

— Почему не поверите? — примирительно сказал конюший. — Я об этом уже слышал, и

приходится верить. Правда, видеть не видел.

— А я, говорю вам, сам видел, — весело настаивал купец. — Машина сама движется, огнем, — и тащит за собой домики. А в этих домиках люди или товары. И баранов из Тигины погрузили мы тоже в такие домики. Катят они себе ладно, без тряски, без заботы, только шум такой, что при разговоре люди должны кричать друг другу, как глухие.

— Гм, — пробормотал чабан. — И ты ездил на этой огненной повозке?

— Ездил. А чему тут дивиться, если я видел вещи еще удивительнее.

— Какие такие вещи еще удивительнее?

— Послушайте только. Там, в немецкой стороне, в городах жилье стоит над жильем в четыре, а то и в пять ярусов.

— Значит, один дом на другом? Слыхал я об этом, да не верилось.

— Почему не верить, когда там и вправду так. Но это что! Видел я и другое, еще удивительней: есть там улицы, цельным камнем покрытые.

При этих словах мы молча переглянулись.

— Да. А немцы со своими барынями выходят и прогуливаются по краям улицы. На всех барынях шляпы, а у мужчин у всех — часы. Не только у

господ, но и у бедных мастеровых.

— Часы мне не диво… — прервал дед Леонте. — А вот женщины в шляпах, по правде сказать, это мне не нравится.

— Да что поделаешь? — сказал конюший. — Такие уж там порядки. А еще что видел ты, господин Дэмиан?

— Ну, другого я ничего не видел, кроме большой ярмарки, там, в Лейпциге. Преогромная ярмарка, и все на свете там есть: и комедианты, и музыканты, и всякие там немцы кишмя кишат, пиво пьют. Кто не пробовал, добрые люди, этого пойла, пусть не жалеет. Вроде горького щелока.

— Вот как? — развеселился конюший. — А вина они и не знают?

— Может быть, знают; но я такого вина, как наше, не видывал и очень по нему соскучился.

— Вот как? А что ты там ел? Думается мне, господин Дэмиан, что приходилось остерегаться и кошек, и лягушек, и крыс.

Чабан изо всех сил сплюнул в сторону и вытер рот, сначала одним рукавом кожуха, затем другим.

— Уж я не так и остерегался, — сказал купец, — потому что этой живности я и не видел. Одна картошка, с вареной свининой или говядиной.

Вареное мясо? — удивился капитан Исак.

— Да, вареное мясо. И пиво, то самое, про которое я вам говорил.

Значит, — продолжал однодворец, — цыпленка на вертеле ты не видал?

— Да нет.

— Ни барашка, жаренного «по-разбойничьи», с чесноком?

— Совсем нет.

— Ни голубцов?

— Ни голубцов, ни борща, ни карпа на вертеле.

— Господи, спаси и помилуй! — перекрестился дед Леонте.

— Коли так, коли у них ничего этого нету, — продолжал капитан Исак, — то их чудеса не очень уж мне любопытны. Пусть остаются со своими поездами, а мы со сторонкой молдовской.

Развеселившись при этих словах, подняли мы кружки за господина Дэмиана Кристишора с его кафтаном, бородой и пухлыми щеками. И кричали мы во всю глотку, каждый на свой лад.

— Но у этих немцев есть и кое-что хорошее, — одобрительно заметил купец, — перво-наперво у них ученье в большой чести.

— Вот это неплохо, — подтвердил конюший.

— В каждом городе, в каждом селе, почтенный

конюший Ионицэ, — школа и учителя. И все учатся.

— Тогда кто же овец-то пасет? — пробурчал чабан, а мы снова рассмеялись.

— Все учатся: и мальчики и девчонки.

Конюший нахмурился:

— Как, и девчонки? Ну, этот обычай тоже при них пускай остается.

Все мы, понятно, были заодно с конюшим. И мы снова закричали так, что, пожалуй, было слышно и в немецкой стороне.

Купец, сохранявший больше спокойствия, улыбался и ожидал, когда мы замолчим. После того как мы утихли, он продолжал:

— Есть еще у этих немцев, почтенный капитан, хороший порядок и закон. Познакомился я там с одним мельником, который судился из-за клочка земли с самим императором. А потому как правда была на стороне мельника, то судьи и присудили землю ему, а не императору.

— В это я опять не поверю, как и в огненную телегу! — вновь закричал пастух Константин.

— А я верю, и это мне нравится, — откликнулся рэзеш.

— Пробыл я там, почтенный конюший, три недели и на многое насмотрелся, и не понрави-

лось мне, что они еретики. Хотя верят-то они тоже в господа нашего Иисуса Христа.

— Почему же они еретики?

— Еретики, — так сказал мне отец Мардаре из храма Трех святителей.

— Раз так, то, значит, еретики, ничего не поделаешь! — согласился конюший.

Подосадовали мы на этот изъян у немцев и продолжали слушать рассказ купца о его странствиях.

— Ездил я у немцев, — говорил он, — по дорогам и по городам, и никто не чинил мне убытка; ни простой человек, ни императорский чиновник. На огненной телеге, как говорит этот недоверчивый человек, повез я свой товар во Львов. А во Львове погрузил его на немецкие телеги. В Сучаве же перегрузил его на эти повозки кордунские. В Корну Лунчий с радостью въехал я в молдовскую страну. Заплатил я господареву пошлину, а таможенники спрашивают меня, не привез ли я и им какие-нибудь подарки от этих немецких негодников и еретиков. Тогда сунул я руку в правый карман кафтана и вытащил для обоих таможенников по красному платку. Я уж заранее припас, чтобы мне тюков не вспарывать. Удовольствовавшись платками, пропустили они

меня. И ехал я спокойно почти до самой Бороая. А там выехал из долины Молдовы всадник, красивый человек, статный, и рукой подает мне знак остановиться. Я понял, что если не остановлюсь, то подаст он знак из пистолетов. Стою, поджидаю его, подъехал он к моим возам и спрашивает, кто я, откуда еду и что за товар везу. Я ему все рассказываю, словно судье, и его спрашиваю, кто он такой. Он мне ответил: «Погляди на меня. Я разбойник и состою при этой большой дороге. Выкладывай деньги, что есть при тебе».

— Добрый человек, — говорю я ему, — дам я тебе товаром, потому что денег у меня нет. Что оставалось у меня, роздал я возчикам, а до моего дома еще два дня пути.

— Вот как? Тогда скажи, что за товар у тебя.

— Что у меня за товар? Товар у меня из Лейпцига, из немецкой страны. Всякие кружева, бисер, серьги и ткани для женских надобностей.

— А к чему мне все это? — говорит разбойник. — Что же, не нашел ты ничего у тех поганцев для такого молодца, как я?

— Да если не прогневаешься и понравится тебе, припас я и для тебя кое-что, добрый человек, — говорю я ему. — Пожалуйста, вот тебе красный платок индийской шерсти, какого во всей стране

ни у кого не найдешь. Особенно всаднику он к лицу!

— Покажи! — требует разбойник.

Я тут же вынимаю из кармана кафтана третий платок и протягиваю ему. Очень обрадовался молодец. Взял он платок, сказал спасибо и поехал.

Довольный, что так отделался, доехал я до села Дрэгушень, тоже на берегу Молдовы. Остановился я с возами на привал, а людям приказал развести костер и сварить на скорую руку мамалыгу. Пока доставал я брынзу и они вываливали из котла мамалыгу, является вдруг стражник и от имени начальства требует бумаги.

Что ж вам сказать? Уж у меня хорошие бумаги были, особенно письмо от моего крестного, боярина Фемистокла Букшана. Вытаскиваю и показываю бумаги и, главное, письмо под нос сую.

А в этом письме так говорится:

«По повелению его высочества господаря, исправники, стражники, таможенные досмотрщики и сельские старосты, кто бы ни были, да не смеют нанести ущерб этому купцу и пропустят его с миром куда нужно. Быть по сему!»

Вытаращил стражник глаза на печати и на подпись и крутит носом.

Говорит:

— Ты, господин, едешь из немецкой страны?

Отвечаю:

— Да, еду из Лейпцига.

— А что за товар везешь?

— Да что за товар? Разные кружева, да бисер, да серьги, да полотна, да ситцы — все для женщин.

— Только и всего? — говорит он. — А что делать с подобными вещами такому холостяку, как я?

— Ничего, — отвечаю я ему, улыбаясь, — если ты не прогневаешься, почтенный стражник, припас я кое-что и для тебя, только бы понравилось. Есть при мне, кроме женских безделушек, красный платок из индийской шерсти, лучше его и на свете нет.

— Покажи, — торопит меня стражник. Я вытащил четвертый платок и отдал ему. Ушел он и даже спасибо мне не сказал. Так-то вот, друзья мои, — добродушно закончил купец. — Заплатил я подати и пошлину, и теперь путь для меня свободен до самых Ясс. А там еще нужно будет поднести дар святой Параскеве и отцу Мардаре. Нужно будет найти что-нибудь подходящее и крестному моему, боярину Букшану. А потом можно будет отдохнуть в своем доме и в лавке, пожиная плоды от трудов своих и дожидаясь того времени, когда суждено будет мне жениться,

потому что, доложу я вам, я еще холост.

Мы снова закричали хором, сдвинув кружки перед самой бородой почтенного купца. На этот шум вышла Анкуца — казалось бы, в испуге, но исподтишка улыбаясь. На деревянном блюде принесла она пироги с творогом. Тут мы еще больше развеселились и зашумели. Дэмиан Кристишор, торговец, повеселев от молодого вина почти так же, как мы, поднялся, запустил левую руку в глубокий карман своего кафтана и вытащил нитку бус. Подойдя к хозяйке, он надел бусы ей на шею и застегнул на затылке. Потом, сделав шаг назад, посмотрел на нее с восхищением.

— Хозяюшка Анкуца, — сказал он, — пусть тебе все твои гости сами скажут. Пускай ответят, видали ли они когда-нибудь более славные бусы на более красивой женщине!

Взяв ее за голову, он расцеловал ее в обе щеки. Но Анкуца, поставив блюдо, выскользнула из объятий купца и бегом бросилась к дому.

Нищий слепец

Из-за возов лейпцигского купца вышли на свет старуха и старик. Женщина шла впереди, старик, подняв чуть-чуть голову, словно прислушива-

ясь к громкому разговору у нашего костра, шел немного сзади.

Старик был слеп, это я сразу понял, как только взглянул на него. Казалось, что старуха тянула его за собой на веревочке. Но он, следуя за ней, шел совершенно безошибочно на запах жареного мяса и на гомон людских голосов.

Голова у старухи была повязана белым платком. Одета она была в шерстяную домотканую юбку и кацавейку. Слепой тоже был одет, как горец: на нем была черная маленькая шляпа, белые штаны и рубаха, а на плечи наброшен кожушок. Под кожушком он придерживал левой рукой волынку, рожок, который свисал вниз…

Почувствовав, что он уже близко к костру, слепой остановился, старуха же продвинулась еще немного вперед. Старик застыл на месте, и огонь освещал его неподвижное лицо, обрамленное белой бородой.

Никто из моих приятелей даже внимания на них не обратил. Только почтенный купец из Лейпцига, узнав их, рассмеялся:

— Тетушка Саломия, — обратился он к старухе, — ты все еще не избавилась от слепого деда? Как я погляжу, он ходит за тобой, как привязанный.

— Правда, правда, ваше степенство, — живо откликнулась она, но ее пронзительный голос прозвучал доброжелательно. — С той поры, как я вышла из Рэдэуци, он, словно тень, за мной увязался. Требует довести его до Ясс и там оставить. Вы можете подумать, — обратилась она ко всем собравшимся, — что он мне муж или брат. Но я уже давным-давно забыла и про мирскую суету, и про родственников. Только и дум у меня что о своих заботах. Я вот пристала к обозу господина купца, чтобы добраться до святой Параскевы — в стольном городе, положить ей на гроб серебряную денежку и поведать ей о моем горе. А он, убогий, потащился за мной… Вон даже храбрости набрался подойти поближе к вашему костру. Он старик хитрый и надеется, что вы прикажете ему сыграть что-нибудь на волынке. Я его уговаривала укутаться с головой в кожушок да и завалиться спать под телегой, но он и слышать не хочет.

Старик ухмыльнулся, обратив к огню слепые белки глаз.

— Люблю я, когда веселые люди собираются, — заговорил он низким приятным голосом. — Люблю я и молодое вино, и цыпленка, жаренного на углях. А больше всего люблю я слушать разные истории. Да и сам могу кое-что рассказать про

минувшие времена. Господь бог решил меня наказать и лишил при жизни света очей моих, вынудив протягивать руку, чтобы у добрых христиан просить себе на пропитание. Уж такова воля господня, но и обо мне он заботится, как о земляном черве. И потому я понял, что грех мне жаловаться, а нужно принимать все как оно есть.

Конюший Ионицэ повернулся к слепому. Окинув его взглядом, он с удивлением спросил:

— Ты жалкий нищий, а говоришь, что любишь цыплят, жаренных на углях.

— Люблю, господин и брат мой, — раздался в ответ добродушный голос слепого.

— И вино любишь?

— И молодое вино, которое и теперь мне щекочет ноздри, тоже люблю.

— А истории всякие сказывать можешь?

— Могу, как и всякий другой человек. Что ж тут такого?

— Думается мне, что ты только хвастаешь, потому что таких историй, как я да мой друг капитан Некулай Исак, никто во всей Молдове не знает.

— В этом я вам перечить не буду, хозяин.

— Тогда молчи, а я вот расскажу самую интересную и самую чудесную историю, какую только

можно услышать.

— Расскажи, хозяин, а я послушаю и буду прихлебывать молодое вино, которое ты теперь наливаешь в свою кружку. А тебе хозяйка другую кружку принесет и ты ее наполнишь. А если будет что-нибудь другое, что полагается к вину, так я с еще большим удовольствием буду слушать. А потом если ты соблаговолишь послушать меня, то я сыграю на волынке и спою песню.

— Значит, ты, слепой и убогий, не только есть и пить можешь, но еще и песни петь?

— Божьей милостью и это умею, хозяин. И еще кое-что могу.

— Ишь ты? А волынка твоя хорошо играет?

— Хорошо, господа и братья мои. Прямо как человеческим голосом.

— И так бывает. Ладно, ты мне сыграешь, что-то захотелось мне здесь, у Анкуцы, песню послушать. Время уже позднее, вон Большая Медведица высоко поднялась в небе. Слышу еще, как и петухи у Анкуцы хлопают крыльями и горланят. А того, у которого голос похуже, я хотел бы завтра утром в горшке со щами получить.

— Петухи поют, — назидательно произнес слепой, — чтобы отогнать злых духов и всякую нечисть, что бродит вокруг.

Общий разговор на минуту смолк, все прислушались, как хлопают крыльями и кричат петухи. Сначала они кукарекали только поблизости, во дворе у Анкуцы, потом петушиный крик послышался издалека, откуда-то из-за реки.

Анкуца принесла конюшему новую кружку.

— Брат Ионицэ, — произнес капитан Исак. — Тебе Анкуца подала новую кружку, а мне подарила улыбку. Значит, мне больше повезло, чем тебе.

Польщенная Анкуца засмеялась.

— Тогда прежнюю кружку, — решил конюший, — нужно отдать слепому, пусть он сыграет мне песню.

— Обязательно сыграю, хозяин.

Старуха, которая привела с собой нищего, казалось, рассердилась без всякого повода, когда старик, вытянув руки вперед, шагнул поближе к нам.

— Просто в толк не возьму, как это всякие увечные и нищие могут мешать людям, которые веселятся!

— Не сердись, сестра Саломия, — повернулся к ней слепой. — Всякая злость, она от нечистого.

— Никакая я тебе не сестра, — оборвала его старуха, поджав губы и отворачиваясь в сторону.

— Что ты мне не сестра, это правда, потому что

сам я в этом мире всего лишь бедный странник. Красив он, этот мир, но я его уже не вижу. Цветет он, но я уже ничего не чувствую. Припомни лучше, Саломия, те времена, когда ты носила жемчужное ожерелье, будь доброй, как и тогда, и не сердись на меня.

Старуха замолчала, а Анкуца рассмеялась.

— Как? Разве ты знаешь, каким бывает жемчуг? — удивился конюший Ионицэ.

— Знаю. И мне довелось один раз увидеть, как блестит жемчуг, хозяин. Это драгоценный камень, который находят в море, в раковинах. Вот в такую же тихую осеннюю ночь, как и теперь, выползают раковины на берег и раскрываются при лунном свете. Та, в которую попадет капелька росы, захлопнется и уйдет в глубину. Из этой-то росинки и родится жемчужина.

— Да этот слепой мудрец, как я погляжу! — проговорил купец, расправляя свою бороду и склоняясь над кружкой.

Все заерзали, словно хотели придвинуться поближе к огню. Слепой отвернулся и хлебнул вина. Потом он снова обернулся к нам, и бесконечная ночь, в которой он пребывал, осветилась улыбкой. Он поставил кружку на землю и уселся по-турецки рядом с ней. Подтянув к себе ближе

волынку, он глубоко вздохнул и стал надувать ее меха. Прижав инструмент левым локтем, он надавил на него, и волынка издала короткий стон, словно ей стало больно. Потом старик что-то забормотал и стал напевать старинную песню.

— Это песня про овечку, — проговорил слепой, поворачивая к нам свое улыбающееся лицо. — Если желаете какую-нибудь другую, хозяин, эту я могу спеть потом.

— Пой эту! — решительно и мрачно произнес чабан. Капитан Исак, усмехнувшись, посмотрел куда-то поверх наших голов.

Музыкант еще туже надул мех, и пальцы его быстро забегали по отверстиям дудки, извлекая из нее старинную печальную песню. Подняв невидящие глаза к звездам и выпустив рожок волынки, старик запел. Он пел про трех чабанов, которые гнали свои отары с гор. Двое из них задумали недоброе против самого молодого:

Среди гор, высоко,
Слышно издалека —
Чабаны гуторят,
Словно громко спорят.
Слышен шум и гомон —
Овцы идут к дому…

Волынка издала старинный призыв. У меня было такое ощущение, что во мне бьется сердце людей, которые некогда жили, а теперь исчезли с этой нашей земли. Я впервые в жизни слышал эту пастушескую песню. Я слушал про овечку, которая жалобным человеческим голосом предупреждала хозяина о злом умысле…

Тайно меж собою
Сговорились двое:
Только тьма настанет,
Как тебя не станет.
Ляжет тень на кручи,
Соберутся тучи
Над горой, над речкой —
И заснут овечки…

Остальные стихи я слышал как бы сквозь плотный туман, среди которого раздавался жалобный голос волынки. Я все еще прислушивался, хотя сморщившиеся меха волынки, словно никому не нужный зверек, лежали уже у ног слепого, а он сам жадно отрывал зубами мясо от куриной ножки и заглатывал большие куски сразу. Невидящие белки, казалось, стали еще больше в его темных глазницах. Опорожнив до конца и круж-

ку, он снова затих, повернувшись к ним лицом.

И мрачный, простодушный чабан из-под Рарэу, и монах, который направлялся к святому Хараламбие, плакали, не стыдясь своих слез. Значит, и я могу без стеснения рассказывать об этом событии, когда и у меня чужие вымыслы вызвали слезы.

— Если желаете, хозяин, я могу спеть и другие песни, получше этой, — заговорил нищий.

— Если знаешь такие, что лучше этой, так зачем же ты тогда эту пел? — прозвучал сердитый голос конюшего Ионицэ из Дрэгэнешти.

— А вот почему, братцы мои и господа, — ответил старик. — Ведь я ослеп, когда был совсем мальчонкой. Пришлось мне покинуть родное село и пойти по людям. Случилось мне как-то зимой наткнуться на берегу Прута на огромную отару. Пригрелся я возле старых пастухов, около их огня, который никогда не потухал. Эти старые пастухи в степи, сидя у костра, и научили меня этой песне. Но они с меня взяли клятву, чтобы я ее никогда не забывал и всегда, как стану играть на волынке, перво-наперво играл эту песню.

Когда я расстался, дорогие мои братья и хозяева, с теми пастухами, перешел я на другой берег Прута, вместе со стариком нищим, к которому

попал я в услуженье. Он не был настоящим слепым, но разжалобить мог хоть кого и песни пел крещеным людям такие, что те навзрыд плакали. Он хорошо умел притворяться слепым, а когда мы оставались вдвоем, он над этим только смеялся. Но господь бог прощал ему это, потому что в церковь он ходил исправно и бил поклоны перед святыми иконами. Правда, он так же кланялся и крестился, когда за околицей села собирался утащить курицу или ягненка. И потому, что и молился и верил он истово, господь бог всегда ему помогал. С этим старым нищим мы прошли через страну, где живут москали, и никто нас ни разу не остановил, ни старый, ни малый, потому что и у них убогих считают божьими людьми и никаких бумаг с печатями не требуют. Ходили мы, где только душе угодно: и по городам и по селам, были на больших ярмарках, и везде православные подавали нам щедрой рукой. Из того, что, бывало, насобираем, оставалось у нас и на продажу или корчмарям-евреям, или бедным мастеровым. А Ерофей, как звали моего товарища, как только заведутся денежки, никогда не забывал купить восковую свечку, чтобы поставить перед иконой. Святые и рады подарочку, сколько стоит свечка, им невдомек, а что у нас

еще карбованцы имеются, откуда им знать про это. Деньги Ерофей хорошенько припрятывал в поясе. Так мы дошли до великого города Киева. Там мы перезимовали и порастратили карбованцы, что удалось скопить.

Пока мы там были, жили мы хорошо и даже прекрасно в нашем братстве нищих слепых, одни из которых и вправду были слепые, а другие и вовсе нет. Обучился я там, словно в школе какой, разным наукам, которые раньше не знал. Научился я и песни жалобные петь, и как побираться нужно. И потом, как-то ночью, была попойка, и в драке убили Ерофея. Тогда я убежал из Киева и стал бродить по белу свету с другими товарищами, пока не дошел до моря, где услыхал татарскую речь. Среди неверных мне тоже жилось хорошо, пока не взяла меня тоска: как-то раз по весне так мне захотелось понюхать, как пахнет еловой смолой, что повернулся я лицом к родной Молдове, а спиной ко всем этим язычникам. Но все это время, братья мои и хозяева, я повсюду носил с собой волынку и не забывал клятвы, данной мной пастухам на берегу Прута. Вот поэтому-то вы и услыхали первой эту песню. Чтобы она мне больно нравилась, не скажу, но спеть ее надо. Ежели желаете, могу спеть и дру-

гую, и покрасивее и посмешнее.

На пути к родным местам я все спрашивал про свою деревеньку, что стояла на берегу реки Молдовы, но так и не нашел ее: опустела она, а господа да бояре перевели ее в другое место. Много лет уже прошло, все мои родные кто помер, кто погиб. Молдова при разливах размыла их могилы, а косточки разметала среди камней да по лугам. Я тогда ходил и все спрашивал про один старинный постоялый двор, который стоял во времена моего детства на столбовой дороге. Этот постоялый двор, отвечали мне православные, стоит недалеко от того места, где было сельцо Негоешть, и зовется он в наши дни подворьем Анкуцы, а люди, которые направляются в Яссы или в Роман, всегда там ночуют. Добрался я до тех мест, где еловой смолой пахло, побывал я и на том постоялом дворе. Сколько лет с той поры миновало, я даже не знаю. Но теперь вновь настало время отправиться мне в Яссы, в стольный город, и поклониться там мощам святой Параскевы во храме Трех святителей. Чувствую я, что снова мне довелось остановиться на постоялом дворе, который называют подворьем Анкуцы. Благодарю бога, что нашел я здесь доброе слово и милость к себе.

Братья мои и хозяева, когда я еще был ребенком и мог видеть своими глазами и село, которого уже нет, и кладбище, которое размыла река, слыхал я от деда моей матери доподлинную историю о чуде, которое совершила святая Параскева, к которой мы и идем с Саломией поклониться. Случилось это чудо в дальние времена, когда на этом подворье жила наша прабабка.

Тогда над Молдовским княжеством царил, как антихрист, господарь Дука. Неутолимая жажда у него была к серебру да к золоту. И стал он душить народ поборами. В те времена и поговорку придумали: «Отчего это наши хаты к земле придавило?» — «Да все из-за княжьих податей и поборов!». Слуги его рыскали на конях с копьями и факелами. Отбирали скот, отбирали колоды с пчелами, отбирали одежду, отбирали деньги. А кому приходило в голову противиться, у того и жизнь отбирали. По всей стране шел княжеский разбой, и избавиться от него не было никакой возможности. Люди бежали в чужие края. И было так до той поры, пока как-то осенью не добрались какие-то несчастные бедняги до Ясс и не поклонились мощам святой Параскевы. Стали они жаловаться на господаря Дуку, омывая раку слезами…

После этой молитвы содрогнулась вдруг рака святой на глазах всего народа, а было это в четырнадцатый день октября месяца, в самый полдень, затмилось небо, поднялся вихрь, повалил мокрый снег, разгулялась метель. На другой день все было погребено под сугробами. Народ перепугался до ужаса.

А ночью, вместе с вихрем, прилетел на княжеский двор сам сатана и постучал когтем в окошко, давая князю знать, что пора, мол, оставлять на этом свете все награбленное добро и готовиться в путь, откуда возврата уже не бывает.

— Приспело время, светлейший князь, свести счеты и расплатиться за все, в чем сам расписался.

А дело-то в том, что князь заключил когда-то с сатаной сделку и скрепил ее подписью и печатью, чтобы он мог учинить над людьми такое бесчинство.

Господаря Дуку аж мороз пронял в его серебряной кровати, когда он услышал эти слова. После этого он вскочил, словно его бичом обожгло, и крикнул слугам, чтобы запрягали коней в карету. Так он сбежал, прихватив с собой все, что мог, и добрался до одного села. Но там его, вместе с метелью, застигли ляшские воины, схватили

они его и отобрали все денежки. И сатана там тоже был — хохочет, надрывается. Он-то и предал князя во вражеские руки. Схватили ляхи князя за шиворот и повезли с собой.

А на пути его одни сугробы да заносы, ехать нету никакой возможности, и кони от натуги пали. Тогда князь достал из-за пазухи последние три припрятанных золотых и отдал одному подлому мужичонке за плетеную кошевку да белую кобылу. В этой простой кошевке и добрался князь Дука до этого постоялого двора. Из всего богатства, что было у князя, ни одной полушки не осталось. Попросил он у старухи, которая тогда всем на подворье заправляла, милостыни — кринку молока. А та его не признала и в ответ только жаловалась, что нет у нее молока.

— Нету молока и коровы нет, батюшка! Ничего нету, потому что все сожрал князь Дука, провались он в преисподнюю, чтоб сожрали его там ненасытные черви адские!

Замолчал князь, понурил голову, сел в сани и уехал. Только потом люди дознались, кто это такой был. Довезли его ляхи до самой границы, но до польского короля он так и не добрался. Заблудился он со своей белой кобылой в дремучем лесу, свалился в овраг и оказался на том свете, где все

проклятые богом собираются. А история об этом чуде от одного старика к другому переходила и дошла до наших времен.

Братья мои и хозяева, все это дело прошлое. Но для вашего теперешнего удовольствия, если вы хотите и прикажете, я могу спеть другую песню!

Но тут случилось такое, чего не ожидал никто из собравшихся вокруг костра, ни рэзеши, ни купцы, ни возчики, ни простые крестьяне. Конюший Ионицэ стал кричать, что он желает слушать песню, но молодая Анкуца подошла к слепцу, взяла его за руку и сказала:

— Слыхала я от своей матери про это дело. Нука повернись ко мне лицом. Уж не ты ли будешь тем, кого зовут Константином, про которого мать сказывала, что он затерялся на белом свете.

— Я буду, — ответил старик. — Так меня и зовут.

Он улыбнулся окружавшей его ночи и стал осторожными пальцами ощупывать лицо Анкуцы.

Анкуца взяла его руку, повернула ладонью вниз и поцеловала. Потом в ту же руку она положила ему ломоть хлеба и кусок жареного мяса. Бедняга снова впился в мясо своими зубами, которые у него были словно железные.

Он будто забыл, где находится, и не промол-

вил больше ни слова. С великим удивлением смотрели мы на него, но с еще большим удивлением, покачивая головой при вспышках костра, смотрел конюший, но не столько на голодного нищего, сколько на волынку, которая, словно мертвый зверек, лежала у его ног, недвижная и бездыханная.

Рассказ колодезника Захарии

Слепой нищий еще не кончил своего рассказа, а тетушка Саломия уже начала ерзать от нетерпения, покусывая губы и ломая пальцы. А после того, как Анкуца поцеловала этому бездомному бродяге руку, оделив, кроме того, куском лепешки и мясом, она и вовсе не смогла сдержаться и стала жаловаться тем, кто сидел поближе к ней:

— Вот так и живут некоторые, не зная ни забот, ни труда, хотя сами и убогие. Ходят, держась за чужую руку, потому как сами и двух шагов не могут сделать. А уж если начнут всякие байки сказывать, то все только рты разевают.

— Какие байки, тетушка Саломия? — спросил я ее. — Он только и рассказал что несколько случаев из своей жизни и историю про господаря Дуку, которая нам известна.

— Я и сама знаю, что эта история доподлинная, не вчера ведь родилась, и наслышалась, и навидалась на своем веку достаточно. Но вы-то слыхали, как он рассказывает, как все выворачивает, как приукрашивает, чтобы люди только его и слушали? Разве черепок на что-нибудь годится? Ни на что он не годен! Просто тошно делается, когда я это слышу, а еще пуще, когда вижу.

— Тетушка Саломия, очень тебя прошу, не сердись. Разве ты не знаешь, каковы они, люди? В свое время была ты красавицей, носила жемчужное ожерелье, как говорит дед Константин. А иначе из-за чего же вились вокруг тебя мужчины, улыбались и всячески улещали тебя? На других женщин они и не глядели, потому что никто не мог сравниться с тобой. И люди, что собрались здесь, чтобы поразвлечься разными историями, такие же: кто краше расскажет, тому и похвал больше. Этот старик и слеп и немощен, но зато он и рассказывать и петь умеет, на это у него дар божий. Если ты радуешься цветочку, что он и красивый и пахнет хорошо, то не обижайся на другой из-за того, что он невзрачный и запаха никакого не имеет — он в этом не виноват.

— Зато он для лечения хорош! — отрезала тетушка Саломия.

— Твоя правда, что он хорош для лечения, так оно и есть. Но здесь мы собрались не ради лекарского искусства. Прежде чем ты здесь появилась, другие тоже, как и этот слепой, рассказывали разные истории, от которых у меня даже кровь леденела и которые я не забуду до самой смерти. А теперь послушаем, что конюший Ионицэ расскажет. Он все сулит такое, чего никто не слыхивал.

— Это ты про тощего рэзеша говоришь?

— Про него, тетушка Саломия.

— Да я вроде бы его уже видела, и сдается мне, что и слышала как-то раз. Он и правда кажется недюжинным человеком. Вот я гляжу на всех, кое-кого я даже знаю, приходилось встречать здесь же, на постоялом дворе, и могу поверить, что каждый из них может поведать про разные случаи. Но какая вера может быть самому распоследнему нищему? Я его привела, я его перед всеми выставила, а сижу себе в сторонке, а ему полный почет и уважение!

— Но теперь речь не про меня, — продолжала Саломия, пронзив меня взглядом. — Вот я сижу здесь среди вас, но гляжу я на человека, который на своем веку чего только не пережил. Пусть он расскажет чего-нибудь, тогда мы посмотрим, на что годится слепой со своими байками. Или по-

слушаем конюшего Ионицэ, наверное, это будет занятнее.

— Тетушка Саломия, — спросил я, — что это за человек, о котором ты говоришь, будто он многое пережил на своем веку?

— Да ты его знаешь. Вот он сидит между монахом и чабаном.

— Да это же дед Захария, колодезник. Пока он тут сидит, он даже рта не раскрыл. Слепые тебе не нравятся, видать, нравятся немые.

— Не бойся, никакой он не немой. Выпить он любит, поэтому ему не до разговоров. Но если он расскажет, что с ним приключилось, ты ушам своим не поверишь!

— А что же с ним приключилось?

— Что приключилось? — вмешался и рэзеш, не зная, о чем идет речь. — С кем приключилось?

— Да вон с тем человеком, достопочтенный конюший, — ответил я, — с Захарией, колодезником. Это мне тетка Саломия поведала, что с ним приключился небывалый случай.

— Где же это?

— А пусть он сам расскажет, — предложила Саломия, и голос ее прозвучал неожиданно мягко. — Попросите его, чтобы он рассказал, что с ним случилось в лесу за рекой. Дядюшка Заха-

рия! — звонко окликнула она.

Колодезник повернул свою лохматую голову с всклоченной бородой.

— Чего? — отозвался он, словно из глубины колодца.

— Дядя Захария, почтенные гости хотели бы услышать, что приключилось с тобой в лесу за рекой, когда ты еще был парнем.

— В Пэстрэвень, значит.

— Там, там, дядя Захария, на поляне, да ты сам знаешь…

— На поляне, которая была и которой нету, потому что весь лес давно вырубили. Называли ее поляной Влэдики Сас.

— Слыхали? — произнесла Саломия, расплываясь в улыбке и отстраняя кружку, которую ей протягивал рэзеш. — Премного вам благодарна, достопочтенный конюший. Но потому как хвораю я, то вина в рот не беру. Вот ракию я пью. Могу и пирога откушать из того, что помягче, потому что не те у меня зубы стали, как раньше, и не могу я кусать все подряд, как бывало в молодости. Хороши пироги, ничего не скажешь, такие и я пекла. А теперь я, пожалуй, осмелюсь хоть губы обмочить в вине, особливо если оно не очень старое. Расскажи же, дядюшка Захария, что

с тобой приключилось на поляне Влэдики Сас.

— А что там случилось? — нехотя переспросил колодезник.

— Расскажи про то, как тебя призвал к себе на двор боярин из Пэстрэвень и приказал найти воду на той поляне.

— Так, так, — подтвердил старик. — Призвал он меня и велел: «Найди мне воду и выкопай на поляне колодец. Этой осенью будет там большая княжеская охота, расположатся они на поляне отдыхать, потому и вода нужна».

Колодезник Захария умолк.

— Ну и что? — заинтересовался конюший.

— Вот и все.

— Как это все? — тряхнула головой Саломия. — Очнись, дядюшка Захария, расскажи все, как было: как ты пришел с боярином на ту поляну, как ты топал ногами по земле то в одном месте, то в другом, как высматривал приметы, ведомые только тебе. Потом ты вынул из-за пояса свой отвес, который никогда тебя не подводил, установил его на землю и стал смотреть…

— Стал я смотреть, — подхватил Захария, — а боярин этот, Димаки Мырза, тоже вроде бы смотрит на отвес, только ничего не понимает. Вот с этим самым отвесом я воду нашел на поляне

Влэдики Сас.

Дед Захария вытащил с левого бока из-за широкого пояса две круглые, соединенные между собой деревянные палочки, которые от старости блестели, словно их специально отполировали, и стал сматывать с них какие-то невидимые нити. При мерцающем свете костра блеснул серебряный шарик.

— Отвес этот сделан из кизилового дерева, — пояснил он. — Э-хе-хе! Кто знает, кем он сделан и когда! Достался он мне от стариков, которые тоже занимались колодезным делом. И не упомню, сколько с его помощью нашел я ключей и вырыл колодцев. И тогда на глазах боярина Димаки Мырза я отыскал воду на поляне. Вот так!

— Что же потом было?

— Да расскажи ты, человече, — вновь принялась понукать его Саломия, поворачивая нос в сторону Захарии и хмуря брови. — Расскажи им, как топнул ты постолом и сказал: «Вот здесь, боярин, вода!» — «В этом месте?» — «В этом самом, боярин. Дай мне цыган с кирками и лопатами, распорядись привезти сюда двадцать возов камня и сложить его рядышком, выдели мне помощников, какие понадобятся, и напиши корчмарю, чтобы вина было вволю, а потом, глядишь, много

времени не пройдет, как я позову тебя сюда с хрустальным стаканом, чтобы ты испил слезы земли».

— Все так и было, — подтвердил Захария.

— После этого боярин и говорит: «Быть по-твоему, копай мне колодец!» Пошел он с колодезником во двор и кликнул писаря, чтобы тот принес гусиное перо. Когда принесли гусиное перо, он потребовал чернил, столик и лист бумаги. Написал он корчмарю записку, которую просил у него Захария. А потом вызвал слуг и распорядился, чего каждому делать, сколько цыган отрядить землю копать, сколько человек послать камень возить, что нужно приготовить, чтобы мастер мог колодец выложить. Слуги все выслушали, поклонились до земли и стали пятиться задом, чтобы разбежаться в разные стороны выполнять приказания.

— Все так и было, — подтвердил Захария. — Боярин только прикрикнул на них: «Цыц!» — такая уж у него привычка была, и хмуро так посмотрел. Слуги в страхе божьем разбежались кто куда.

— Разбежались они, — подхватила Саломия, — а потом все сошлись в одном месте и в один час. Цыгане принялись кирками да лопатами землю копать, возчики возить камень и складывать его

на лугу, а дядюшка Захария устроил подстилку из листьев, полеживает себе, смотрит на них да из кружки прихлебывает.

— Дрожжевую ракию из Котнарь, — уточнил колодезник.

— Верно, верно. Лежит он себе в шалашике на подстилке, а цыгане кирками и лопатами сначала землю черную выкопали, потом стали глину наверх выбрасывать, потом дошли до песка и мелкого камня. А вот когда земля размокшая пошла, тут Захария встал и подошел к краю ямы и сказал: «Эй, цыгане, если вам пить хочется, то погодите немного, скоро появится вода».

Как он сказал, так и случилось на том самом месте, где отвес указал. Появилась вода, люди добрые, а цыгане стали копать дальше, поднимая бадьями наверх жидкую грязь. Копали так, что пот с лица вытирать не успевали. И все спрашивали: «Много еще осталось, мастер Захария? А то, глядишь, дыру на тот свет прокопаем». — «Копайте, копайте! — отвечал им колодезник. — Пока не скажу — хватит».

Так оно и было. Встал он в один прекрасный день и сказал: «Довольно! Теперь выложим края, заложим добрые подпорки и примемся возводить стены».

Так они и сделали. Спустился он в колодец вместе с каменщиками и стал выкладывать стены. А когда над поляной закружились желтые листья, приехал боярин с хрустальным стаканом отведать, какова вода, как и приглашал его Захария.

— Так все и было! — подтвердил старый колодезник. — Боярин Димаки сказал: «Ц-ц! Добрая вода, Захария!» И правда, вода была добрая. Но только вино я пью с большим удовольствием, вино мне куда больше на пользу.

— Ну а что потом? — спросил конюший.

— А потом ничего. Делу конец. Колодец я выкопал, и живите себе с миром.

— Погоди, дядюшка Захария, не все так просто, — усмехнулась Саломия. — Уж лучше я все расскажу этим людям, что ты там видел, что с тобой было. Уж лучше я за тебя похвастаюсь. Так вот, после того как покончили они с колодцем, приехал из стольного города гонец от господаря, чтобы известить о княжеской охоте. Прискакал гонец, боярин Димаки вновь сзывает всех слуг и распоряжается, чтобы расчистить на поляне место и поставить шалаши для княжеской охотничьей свиты. А когда господарь сойдет с коня, то Захария должен подать ему в кувшине воды, а из кувшина налить ее в стакан, а рядом должен

стоять цыган с подносом, а на нем блюдце с вареньем и серебряная ложечка.

Все так и сладили. Вот и приехал в Пэстрэвень господарь с преогромной свитой.

— Господарь Калимах, — заметил колодезник. — Борода у него длинная-длинная… Он все ее пальцами расчесывал.

— Приехал господарь с огромной свитой, и вышел ему навстречу боярин Димаки с женою и с дочкой, потому как у него дочка была, тоненькая и красивая. Поклонились они князю, поцеловали ему руку, а девушка все вздыхает и плачет.

«Что случилось? — спрашивает тогда его величество князь Калимах. — Почему эта девица вздыхает?»

«От великой робости, ваше величество», — отвечает боярин, а сам брови нахмурил и волком глянул на дочку. А с девушкой той…

— Аглэицей, — подсказал Захария.

— А с девушкой той, Аглэицей, ничего не случилось, просто она влюбилась в одного парня, сына однодворца из Рэзбоень. Звали его Илиеш Урсаки. Боярин Димаки Мырза прикрикнул на него: «Цыц! Сгинь с моих глаз, подлец, и так девке голову заморочил!» И вот теперь девушка все плакала, потеряв надежду на любовь. Боярин

больно схватил ее за плечо и затолкал обратно в комнату, чтобы не портила празднества и чтобы князь не прознал про такой позор.

Повернувшись опять к бороде его величества, боярин снова предстал лицом чист и весел. Тут он велел призвать лесников, чтобы они при господаре поведали, какие косули и кабаны водятся в известных им чащобах и оврагах.

После этого был устроен большой пир, но господарь соизволил отойти спать пораньше, чтобы встать на рассвете. И правда, первым на коня сел господарь, а боярин Димаки был рядом с ним, распоряжаясь охотниками и загонщиками. Поехали они в лес. Чтобы не пропустить ни густых зарослей, ни овражка, люди растянулись цепью, улюлюкали и в рога трубили. А Захария в это время торопился к своему колодцу.

— Так оно и было! — подтвердил колодезник.

— По дороге к колодцу увидал он на тропинке дочку боярина Димаки: бежит она, ничего не видя, между деревьями, голову ладонями сжала и плачет.

«Целую ручку, боярышня Аглэица, — поздоровался с ней Захария. — С чего ты плачешь, отчего рыдаешь, словно по покойнику?»

«Ой, Захария! — воскликнула она, остановив-

шись. — Как мне не плакать, Захария, если я поклялась умереть? Преклонила я колени перед иконой божьей матери, молила ее о чуде, чтобы умягчила она каменные сердца. Поняв, что и князю я не могу пасть в ноги, чтобы рассказать ему все, и что все меня покинули, даже родная матушка, решила я своим умом и сердцем, что ничего мне не осталось, как только порешить свою жизнь. Я, Захария, без Илиеша Урсаки жить не могу. Так что бегу я, чтобы броситься в колодец. Когда приедет светлейший князь и захочет испить водицы, ты не сможешь его угостить, а скажешь: «Светлейший господарь, так, мол, и так, бросилась в колодец боярская дочка».

«Разве сможешь ты совершить, боярышня Аглэица, такое богопротивное дело?»

«Смогу, Захария, — отвечает ему девушка. — Перво-наперво я послала свою служанку к Илиешу, чтобы он пришел сюда и провели мы с ним мой последний час беззаботно, как настоящие любовники. А потом уж я брошусь в колодец».

«Но он тебе не позволит этого, боярышня Аглэица. Я же знаю, что он парень достойный. Уж лучше пусть он украдет тебя и увезет с собой».

«Тогда я не буду бросаться в колодец, Захария», — ответила девушка и улыбнулась.

«Не бросайся, боярышня. Лучше послушайся меня. После того как встретишь ты своего возлюбленного, приходите ко мне к колодцу, и я вас спрячу в большом шалаше из листвы, который приготовлен для князя. В полдень вся княжеская охота будет отдыхать и соберется здесь, на поляне Влэдики Сас. Я поднесу князю кувшин и стакан, а цыган поднос с вареньем и ложечку. После того как князь похвалит: «Кхе-кхе! Добрая водица! Отличная вода!» — я сделаю шаг в сторону, а он войдет в шалаш. Там он и увидит, как вы стоите на коленях, склонив головы, и просите у него прощения… Тогда его величество возьмет вас за руки, прикажет встать, потом возложит свои длани вам на головы и кликнет боярина, чтобы он пришел и обнял своих детей.

Я думаю, боярышня, что так будет лучше. Иначе и быть не может, как я полагаю, так все и должно случиться. В первую очередь потому, что люди должны прощать влюбленных. Тут уж ничего не поделаешь!»

Захария стал смеяться в свою всклокоченную бороду. Казалось, что рассказанная история поразила его больше, чем всех остальных. Не переставая смеяться, он вытянул шею, поднял голову и выпучил глаза, словно ждал: а что же бу-

дет дальше. Знать-то он знал, но звучит история лучше, когда ее рассказывает кто-то другой.

— Гм! — пробормотал он. — Сдается мне, что и впрямь ничего с ними не смогли поделать.

— Куда тут деваться! — подхватила тетушка Саломия и, осмелев, подцепила двумя пальцами еще одну ватрушку. — Спряталась влюбленная пара в чащобе и навострила уши, словно дикие звери, прислушиваясь к крикам загонщиков и рогам егерей. Потом они пробрались к колодцу, и Захария спрятал их в шалаше. А в это время князь уже знал от одного из своих преданных бояр, почему девушка проливала слезы, целуя ему руку. Ведь шила в мешке не утаишь! Так вот, отведав варенья из горькой черешни и выпив стакан воды, князь прочистил горло: ха-ха! — и расчесал бороду пальцами. Улыбнувшись, он повернулся к придворным и к простому люду, что запрудил поляну, словно разыскивая кого-то.

«А где же мой верный Димаки Мырза?» — спросил князь.

«Здесь я, ваше величество».

«Хотел бы я знать, чем ты опечален, боярин, почему ты не находишь себе места? Великим бы удовольствием для меня было, мой верный слуга, если бы за нашим охотничьим столом дочка

твоей светлости… как ее зовут?»

«Аглэица, ваше величество».

«…если бы дочка твоей светлости Аглэица поднесла бы серебряный кубок старого вина своему господарю».

Боярин очень перепугался, потому что жена его успела ему сообщить, что дочка их сбежала из родительского дома, решив покончить с собой.

«Ваше величество, — набрался он смелости, — не ко времени это. Стол уже накрыт, да и охота ждет…»

«Я бы хотел знать, где находится сейчас твоя дочь», — усмехнулся князь.

Тут колодезник Захария, проявив небывалую отвагу, как и должно быть на княжеской охоте, вынул из-за пояса отвес, который вы уже видели, зажал его руками и держит неподвижно. А серебряный шарик, словно огонек, метнулся в сторону. Никто не понимает, что это значит. И боярин не знает, что ему отвечать своему господарю.

«Это Захария, твой колодезник?» — спросил князь, поджимая губы и глядя свысока.

«Да, ваше величество».

«Чего же он хочет?»

«Не знаю, ваше величество».

Князь нахмурился и спросил Захарию:

«Чего тебе надобно, отвечай!»

Захария не осмелился ответить, но, следуя указанию своего отвеса, распахнул дверь в княжеский шалаш. Тут господарь увидел коленопреклоненную пару, как они ждут, опустив книзу головы.

Никто не понимал, как это все случилось, но больше всех удивлялся князь мудрости отвеса. Ну а потом в стольном граде, в Яссах, князь и княгиня стали этим молодым посаженными отцом и матерью. Все помирились, развеселились и сразу после охоты справили свадьбу. На пути в стольный город первый пир был здесь, на постоялом дворе Анкуцы.

— Гм! — буркнул Захария, качая головой и закрыв рот, словно подтверждая — так оно и было.

— Я же вам говорила, — закончила старуха, — что этот колодезник пережил и повидал такое, что не каждому удается.

— Что правда, то правда. Прекрасную историю поведал нам Захария, — подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешти. — Но другие тоже знают прекрасные и чудесные истории еще похлеще. Все же и его хороша. Тут ты права.

На лице конюшего застыла улыбка, и сам он, слегка покачиваясь, глядел на нас затуманенным

взором. Час был поздний, и Большая Медведица стала уже спускаться к горизонту. Костер потух. Почти все собравшиеся поставили свои кружки на землю, сон смыкал им глаза.

Из-за постоялого двора вдруг послышалось ржанье тощей кобылы рэзеша. Лошадь словно вскрикнула, так что я, испугавшись, даже вскочил с места. Тетушка Саломия, усмехнувшись, шепнула:

— Недобрый этот час. Все ночные приметы мне ведомы, особливо те, когда нечистый начинает бродить. Вот и лошадь его почуяла и знак подала.

Казалось, весь постоялый двор почувствовал нечистую силу: вдоль стен словно пробежала дрожь, где-то внутри хлопнула дверь. Все сидевшие у костра замолчали, но, глядя друг на друга, уже не различали лиц.

Тетушка Саломия трижды плюнула в золу: тьфу! тьфу! тьфу! — и перекрестилась. Только тогда мы почувствовали, что проходит наше оцепенение. Нечистая сила словно растворилась в глубокой воде и пустынном лесу, потому что мы ее больше не ощущали. Но, разбредаясь по укромным местам и готовясь ко сну, все мы еле двигались и чувствовали себя так, словно целый

день тяжко трудились. Кое-кто заснул там, где сидел. Даже сам конюший Ионицэ, обняв и расцеловав капитана Некулае, совсем забыл, что обещал нам рассказать историю, какой никто из нас еще не слыхал.

Таможня на кладбище Эюб
Перевод А. Садецкого

{28}

Я расскажу вам одну историю. Все это подлинная правда. Иначе зачем было бы рассказывать? Только эта история повествует не о тех незапамятных временах, когда подковывали блоху, а о наших днях, и дело было в дружественной стране. Конечно, все это могло бы случиться и у нас, но…

Правда — повелительница моя, и ей одной я служу…

Придерживаясь истины, надлежит рассказать, что событие это произошло в славном городе Царьграде, ныне величаемом Стамбулом, а человек, о котором идет речь, турок по имени Али.

{28} Комментарии: 28

ТАМОЖНЯ НА КЛАДБИЩЕ ЭЮБ (VAMA DE LA EYUB)

Рассказ опубликован в сборнике «Восточные фантазии» (1946), на русском языке впервые напечатан в сборнике «Современные румынские повести и новеллы».

Этот турок был человек честный и рачительный хозяин; ему очень хотелось выбраться из нищеты, жить чуточку получше в наши трудные дни и каждую пятницу угоститься и повеселиться вволю. Но как же ему веселиться? Куда ни глянь, всюду одни выскочки, нажившиеся на войне, или взяточники, поглядывающие на него свысока. Конечно, такой человек, как Али, правоверный, следующий во всем велениям пророка, заслуживал другой судьбы. Заниматься грязными делишками и обманом ему не к лицу, не хочет он запятнать свою совесть. Не подлежит сомнению, что не одни только гяуры, но и честные люди и истинные мусульмане имеют право на счастье. Ведь и правоверные порой вкушают в этой жизни блага на службе у Великой Порты{29} или занимаясь торговлей.

Но пока он еще не додумался, как стать визирем, неплохо заняться каким-нибудь делом. С такими добрыми намерениями бродит Али в эти весенние дни по селам, поглядывая по сторонам, время от времени срывая цветок или утоляя жажду у колодца. Хохлатые цапли прилетели в сады, где буйно цвел миндаль.

{29} Комментарии: 29

Великая Порта, или Блестящая Порта — Оттоманская империя.

«Уже кончается пост рамазан, — размышляет Али, — и не худо было бы весело отпраздновать с женой байрам. Раздобыть бы мне за сходную цену какой-нибудь товар и выгодно продать его в столице… Нынче продам одно, завтра — другое, мало-помалу торговля наладится, великий аллах мне поможет, и я познаю уготованное мне благосостояние и довольство».

Сказано — сделано. Был золотой день, сияло бирюзовое небо, когда Али отправился на поиски. В деревне у одной бабки он достал за сходную цену три сотни яиц, уложил в корзинку, поставил на тюрбан и, мурлыча под нос песенку, возвратился в Стамбул.

Но не прошел Али и ста шагов по мостовой Силиври-Капу, как его остановил мрачного вида стражник с тесаком за поясом.

— Стой! Что несешь?

Остановился Али.

— Три сотни яиц.

— Для своей потребы или на продажу?

— На продажу.

— Ну, это все одно — хоть для своей потребы, хоть на продажу. Я таможенный надсмотрщик; коли хочешь пройти, платить надо!

— А за что платить? Я и знать не хочу ни о какой

таможенной пошлине.

— Это ты не хочешь знать, а я знаю.

— Да ведь я несу несколько штук яиц, человече! Честно за них заплатил, они теперь мои. Кому какое дело до меня?

— Мне дело! Заплати пошлину и проходи!

— Ну а если я не согласен? Пойду обратно и брошу эту торговлю?

— И это не дозволено! Ты попал сюда? Попал! Значит, все!

— А коли нет у меня денег?

— Ничего. Помиримся и без денег. Расплатишься яйцами.

— Ладно, отдам тебе два-три яйца, а ты отпустишь меня, пойду своей торговлей заниматься.

— Это ты так говоришь: два-три яйца, а я требую двадцать — тридцать штук.

— Горе мне! Да ты кто, правоверный или гяур?

— Правоверный! Ля алла, иль алла! Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его!

— Как же ты не жалеешь своего единоверца?

— Жалею, потому не будем больше болтать: давай мне десяток яиц и проходи.

Поскреб Али затылок, пораскинул мозгами, погладил бороду и смирился. Вокруг цветы цветут, с правой стороны кукушка ему на счастье

кукует. Отсчитал он городскому надсмотрщику десяток яиц и вновь поставил корзинку себе на макушку.

Вздохнул Али. Видно, так суждено! Раз это таможенный надсмотрщик, то ничего не поделаешь. У государства тоже свои люди, свои затраты.

Вышел Али на другую улицу, а там окликнул его другой голос, погуще и грознее первого:

— Ни с места! Стой! Плати пошлину!

— А мне нечего останавливаться. Пошлину я уже заплатил и теперь свободен. Ты с других теперь требуй, а не с меня.

— Уплатил? Что-то мне не верится.

— Клянусь бородой, уплатил.

— А где ты платил?

— На первой же улице, как только свернул направо по Силиври-Капу.

— А, это другое дело! Может быть, очень может быть. Там следит за порядком надсмотрщик первой слободки. А здесь вторая слободка. Так что хватит тебе языком болтать. Плати, а не то посажу в каталажку. Сколько там ты заплатил?

— Десяток яиц!

— Отменно! Отсчитай и мне столько же, и ты волен лететь куда хочешь, как голубь, что на мечети.

— И на этом все кончится?

— Кончится. Мне от тебя больше ничего не надо. Иди себе подобру-поздорову.

Вздохнул Али и облегчил свою корзинку еще на десяток яиц.

Да, надо быть осторожнее. Не дело это — выставлять корзинку на голове, так чтобы она сразу бросалась всем в глаза, хоть на другом конце улицы. Взял Али корзину под мышку, да еще накрыл полой халата.

— А ну-ка постой, почтеннейший! — вскоре окликнул его третий султанский чиновник. — Ты что там украдкой несешь? Это твое добро или ты его добыл силой у какого-нибудь подлого гяура? Если добыл у гяура, то должен отдать мне положенную половину. Ну а коли это твое добро, то, так и быть, довольствуюсь одной пошлиной.

— Горе мне, горе! — застонал наш купец. — Если бы я продал те яйца, что отдал надсмотрщикам, я прокормился бы целых три дня. А теперь, коли заплачу и тебе, вся моя торговля пойдет прахом. Я еле-еле выручу обратно деньги, какие вложил в дело. Да слыхано ли это — платить три раза пошлину за один и тот же товар? Такого на моей памяти в наших краях никогда еще не бывало.

— Ничего не поделаешь, почтеннейший. Те-

перь новые порядки. Плати!

— Да как же так? Коли отдам и тебе десяток яиц, останусь в убытке.

— Ладно, ладно, не расстраивайся. Отдай мне восемь штук и уноси ноги поживей, пока не пришел мой напарник. Не говори потом, что я злой человек.

У Али потемнело в глазах, но деться ведь некуда. Заплатил и ушел, но теперь понял, что двигаться надо побыстрее. Вихрем промчался он по другой улице и даже не обернулся на раздавшиеся за ним грозные окрики. Пролетел было пустырь, но здесь догнали его два всадника и стиснули между конями. Несчастный купец не сказал больше ни слова: примирился со своей участью и вложил каждому в руку по три яйца. Отсюда прокрался он к главному мосту через Золотой Рог, а там его уже поджидают другие надсмотрщики, те, что взимают пошлину за переход через мост.

— Пошлину! — кричит один надсмотрщик.

— Подать! — требует другой бородач.

Тут Али остановился с посветлевшим лицом. Сделал еще два шага к перилам моста, посмотрел на плывущие лодки, на лебедей. Он уже никого не боялся: все представлялось ему в розовом свете. Повернулся он к надсмотрщикам и ласково

их спросил:

— Знаете что, почтенные?

— Узнаем, коль скажешь, — ответил один из надсмотрщиков. — А пока заплати то, что мне положено.

— Знаете что? Я вам отдам все яйца, какие еще остались в корзине. Берите и оставьте меня в покое. Согласны?

— Согласны. Лучшего слова ты и не мог сказать. Сразу видать, что ты богатый и честный купец.

Али почтительно приложил руку к сердцу, к губам и ко лбу и, освободившись от забот, повернул обратно и поплелся к кладбищу Эюб, насвистывая песенку. Такова жизнь. Плохая жизнь. Лучше иметь дело с покойниками, чем с живыми, как говорится в псалмах султана Дауда{30}.

Идет он себе и идет, кончиком посоха отбрасывает влево и вправо мусор со своего пути, как вдруг видит, к кипарисовому саду вечного покоя направляется похоронная процессия.

Процессия большая, по всему видать, хоронят человека, жившего в довольстве и холе.

— Нет бога, кроме аллаха, и Магомет пророк его, — пробормотал Али, которого вдруг осенила

{30} Комментарии: 30

Дауд. — Имеется в виду библейский царь Давид.

чудная мысль. — Стойте, люди добрые и братья! — заорал он во весь голос, широко расставив ноги посередине улицы и подняв посох. — Стойте! Здесь проход воспрещен!

Процессия остановилась, люди затоптались на месте, со всех сторон посыпались вопросы:

— Что такое? Что случилось? Почему?

— Без оплаты пошлины проход здесь воспрещен, — ответил спокойно Али. — Заплатите и идите себе дальше с богом.

— Пошлину за покойников? Да это неслыханное дело! Вчера еще ничего не платили.

— Вчера нет, а сегодня да! Мне с вами не о чем разговаривать, платите что положено, и все!

— Сколько?

— Немного: одну лиру.

— Так и быть, уплатим ему лиру, — смиренно согласились родственники. — Наше дело требует больших затрат. Коли тратим тысячи, не пожалеем и сотни. Ладно, получай свою лиру.

— Благодарствую. Идите с миром!

Получил Али лиру и поклонился бирюзовому небу. Как бы то ни было, жизнь не такая уж плохая, как казалось час тому назад. Пристроимся здесь на обочине дороги, передохнем и откроем доходное торговое дело. Вознесем и бла-

годарственную молитву господу богу, который заботится о своих правоверных. Подремлем еще с четверть часика. А вот и другая похоронная процессия! Встанем и вновь поднимем посох, чтобы остановить ее.

— Стойте. Проход воспрещен. Платите пошлину!

— Что? Да, впрочем, мы уже что-то слышали об этом. Сколько платить?

— Одну лиру.

— Ну, раз введен новый порядок, заплатим и пройдем. Получай свою лиру.

— Премного вам благодарен.

Приятно делами заниматься в ласковую погоду, в мягкие весенние дни. А как быть, когда начнутся бесконечные дожди и промозглая сырость? Ну-ка, приспособим на такой случай вон ту развалившуюся хибарку на конце улицы. Да там и стол есть. Вечером завернем в Буюк-Чаршы и купим какую-нибудь старую конторскую книгу, чтобы не сбиться со счета. Там же, у знакомого армянина, купим и старую вывеску с красной надписью. Когда-то она висела на дверях присутственного места. Повесим над дверью вывеску и будем важно под ней восседать. Таким образом, думается, соберем нужные деньги для байрама,

по которому мы так вздыхаем. Порадуем и Софиханум новой чадрой.

Через три дня торговля Али была обставлена как следует, по всем правилам: султанские гербы, стол, конторская книга и посох с медным набалдашником.

— Стойте! Платите пошлину!

И все платят.

На шестой день хоронили одного визиря, покинувшего сей бренный мир. Как тут быть? Ведь хоронят визиря. Ну так что же! У врат смерти все равны. Пусть уплатит и эту пошлину в соответствии со своим рангом. Десять лир!

Подошли и другие визири Великой Порты. Уставились на Али: лик благочестивый, борода седая. Стол, конторская книга, султанские гербы. Посох с медным набалдашником.

— Это что еще за новость?

— Таможня кладбища Эюб.

— С каких это пор? Мы высшие сановники, и то ничего не знаем.

— Не знали вы, но, как видите, есть такая таможня. Я вам все расскажу, когда соблаговолите меня выслушать. А покамест прикажите внести деньги, чтобы пресветлый визирь мог перейти от бренной жизни к вечной.

— Гм! Ладно, пусть пока уплатят, а потом мы уж выясним, в чем тут дело.

Вернулись визири из печального сада Эюбского, выслушали историю Али, и она им, как видно, понравилась.

— А хорошо идет дело? — спросил, улыбаясь, самый старший сановник.

— Слава аллаху, хорошо.

— Платят люди?

— Платят. А почему им не платить?

— Отменно! Раз так, то оставим здесь все как есть, и я тебе выправлю сегодня же фирман. Только выплачивай казне то, что ей положено.

— А как же иначе? И если будет на то воля аллаха, я измыслю еще какое-нибудь честное жульничество на благо почтенных людей и всего мира.

Так устроили в Стамбуле таможню по дороге на тот свет.